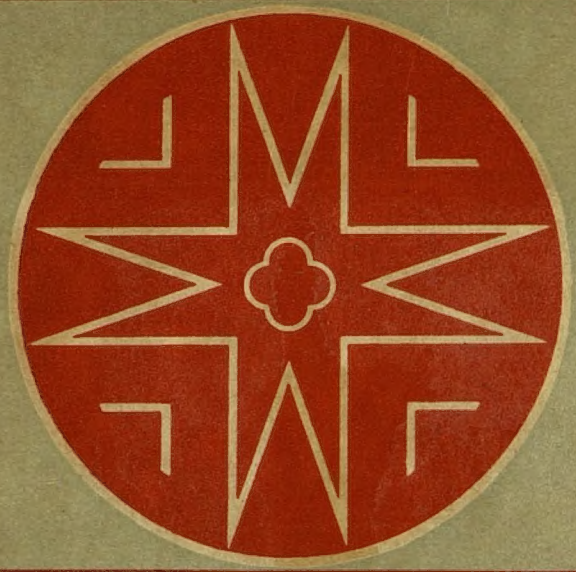
260506

В ПАРМЕ

ГОСЛИТИЗДАТ • 1936



ГОСЛИТИЗДАТ

СТАВ СТРАНАЈАССА ПРОЛЕТАРІЈЈАС, ÖТУВТЧÖЈ!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

11-8

ПАРМАЫН

КОМІ ҐІЖЫСЄЈАСЛӦН СБОРҢІК

★

КОМІ АВТОНОМІЈАЛЫ ԁАСВІТ ВО ТЫРІҐ-КЕЖЛӦ

ЛӦЄӦԁЫС ӦЛӦК ӦҢԁРЕЈ /О.О. ПОПОВ/
ҐӦҐӦРВОӦԁАН СТАТҬА ӦЛӦК ӦҢԁРЕЈЛӦН

*

КЫВБУРЈАС РОЧВЫЛӦ ВУЖӦԁАЛІС
ҢІКӦН ВАҢ /ЛҢ.МОЛЧАНОВ/ ԁА ЈЕВ. СОКОЛ

•

ФОЛКЛОР ЛӦЄӦԁАЛІС
ҐАЛЕКЄЕЈЕВ

ГОСУԁАРСТВЕННӦЈ ІЗԁАҬЕЛСТВО
// ХУԁОЖЕСТВЕННӦЈ ЛІҬЕРАТУРА //

МӦСКУВА 1936ӦҐ

Коми республиканская
библиотека им. В. И. Ленина
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ДЕПОЗИТАРИЙ

С
В-11

В ПАРМЕ

СБОРНИК ПРОИЗВЕДЕНИЙ КОМИ-ЛИТЕРАТУРЫ

★

К ПЯТНАДЦАТИЛЕТИЮ КОМИ ОБЛАСТИ

260506

СОСТАВИЛ А. А. ПОПОВ
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ А. А. ПОПОВА

ПЕРЕВОД СТИХОВ
ИВ. МОЛЧАНОВА и ЕВГ. СОКОЛА

ОБРАБОТКА ФОЛЬКЛОРА
ГЛЕБА АЛЕКСЕЕВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
// ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА //

МОСКВА 1936

... «для революции пролетариата необходимо длительное воспитание рабочих в духе полнейшего национального равенства и братства. Следовательно, с точки зрения интересов именно великорусского пролетариата, необходимо длительное воспитание масс в смысле самого решительного, последовательного, смелого революционного отстаивания полного равноправия и права самоопределения всех угнетенных великороссами наций. Интерес (не по-холопски понятой) национальной гордости великороссов совпадает с социалистическим интересом великорусских (и всех иных) пролетариев». (В. Ленин, «О национальной гордости великороссов, т. XVIII. стр. 83.)

«дружба между народами СССР растет и крепнет. Это, товарищи, самое ценное из того, что дала нам большевистская национальная политика.

А дружба между народами СССР — большое и серьезное завоевание. Ибо пока эта дружба существует, народы нашей страны будут свободны и непобедимы. Никто не страшен нам, ни внутренние, ни внешние враги, пока эта дружба живет и здравствует». (*Из речи тов. Сталина на совещании передовиков колхозников и колхозниц Таджикистана и Туркменистана 4/XII 1935 г.*)

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
XV
60 КОМІ АВТОНОМІ АЛЫ
ЛЕТ КОМИ АВТОНОМИИ
1921-1936

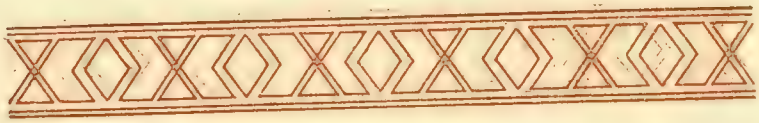
НЁБДИНСА ВИТТОР

СПАСИБО ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ

Песня

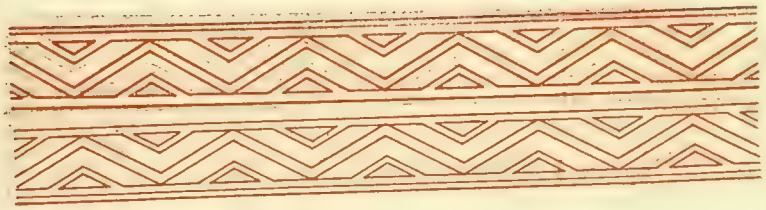
1

По лесам, по селам Коми-края,
По полям раскованной земли
Реки нашей радости играют,
И улыбкой лица расцвели.
Так за все,
За счастье молодое,
Нашей жизни
Солнечный простор —
Шлем тебе сердечное, большое
От души «спасибо!».
Сталин-йорт! [1]



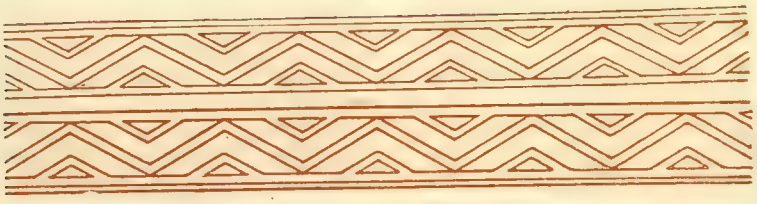
2

Угнетенья злыми кандалами
Мы гремели, горе затая.
Нынче воли радостное пламя
Обнимает дальние края.
Так за все,
За счастье молодое,
Нашей жизни
Солнечный простор —
Шлем тебе сердечное, большое
От души «спасибо!»,
Сталин-йорт!



3

Четок шаг. Дорога не в тумане
Для народов солнечной страны...
На великой стройке не отстанем
Мы, вождя любимого сыны.
Так за все,
За счастье молодое,
Нашей жизни
Солнечный простор —
Шлем тебе сердечное, большое
От души «спасибо!»,
Сталин-йорт!



«Со времени образования советских республик государства мира разбились на два лагеря: на лагерь социализма и на лагерь капитализма. В лагере капитализма мы имеем империалистические войны, национальную рознь, угнетение, колониальное рабство и шовинизм. В лагере советов, в лагере социализма мы имеем, наоборот, взаимное доверие, национальное равенство, мирное сожительство и братское сотрудничество народов. Десятки лет капиталистическая демократия старается разрешить национальные противоречия в порядке совмещения интересов свободного развития национальностей с системой эксплоатации. Но это не удавалось до сих пор и не удастся. Наоборот, клубок национальных противоречий все более запутывается, угрожая смертью капитализму. Только тут, в мире советов, в лагере социализма, удалось с корнем вырвать национальный гнет и наладить взаимное доверие и братское сотрудничество народов. И только после того, как это удалось советам, мы получили возможность построить нашу федерацию и отстоять ее от нападения врагов, как внутренних, так и внешних». (И. Сталин, «Марксизм и национально-колониальный вопрос», стр. 95.)

А. А. ПОПОВ
/ÖЛЕК ÖНДРЕЙ/

„ОТТЕСНЕННЫЕ" ВОЗРОЖДЕНЫ ВЕЛИКИМ ОКТЯБРЕМ

260506

I

Первые упоминания о народе коми и занимаемой им территории мы находим в скандинавских сагах (IX—XI веков), повествующих о «Биармии» (от «Би-ур-му» — страна огненных белок), куда скандинавские викинги ходили в разбойные набеги за пушниной. Как данные фольклора и языка, так и более поздние летописные, да и материал самих саг при критическом к ним отношении,— всё указывает на то, что коми периода этой «Биармии» жили охотничьими племенами, находившимися на стадии первобытно-родовой организации общества, только что начавшей разлагаться под влиянием меновой торговли. Легенда о «великом государстве Биармии», которую так усиленно поддерживали и коми-националисты и современные «велико-финны», таким образом, в конечном счете оказывается ни на чем не основанной [2].

Следы набегов и наездов в Коми-край скандинавских феодалов отразились в коми-фольклоре (см. предание о «железном», то есть одетом в железо, средневековом ры-

царе — «Кӧрт-Айка», стр. 49). С XII века викингов сменили новгородские ушкуйники, и Коми-край, под именем «Переми» или «Перми» (от «парма» — в смысле «лесная страна»), стал данником Великого Новгорода. Новгородские правители так же вели себя, как средневековые хищники. Повидимому, к этому времени, в ходе дальнейшего разложения первобытно-родового строя, начался уже процесс выделения [3] и в среде самих коми местных феодальных «хозяев» (см. предание о «Яг-Морте», стр. 47). В ту же эпоху, судя по данным фольклора [4], наезжали в Коми-край и татары (см. песню «Выкуп», стр. 91) с их «господством систематического террора» (Маркс).

В таких условиях возникает безусловно прогрессивная для данной эпохи тенденция к созданию национальных государств [5]. Применительно к России XIV века это означало укрепление и рост великого княжества Московского, под протекторат которого Коми-край и перешел в конце XIV века. Переход этот, в основном, был организован стараниями миссионера, а впоследствии (с 1383 года) первого пермского епископа [6] Стефана (в Коми-крае с 1379 года; умер в 1396 году), создавшего, между прочим, и письмена для коми-языка, однако, уже в конце XV века забытые. Отдельные феодалы, как Пам Бурморт (упоминаемый в «житии» Стефана), пытались противиться Москве, но поддержки масс не встретили. На Каме, где в силу более тесного общения с торговыми народами Поволжья феодальные отношения были более развиты, местные князьки («ӧксы») выдержали более длительную борьбу, но в 1472 году и они были разбиты войсками Ивана III и Коми-край целиком стал колонией Москвы. Сто лет спустя, в связи с завершением колонизации края, и епархия была переведена в Вологду.

Даже имя свое утратили покоренные коми. С 1570-х годов их стали звать не «пермяне», а унижающим их названием «зыряне» (от «зыремйас» — оттесненные). Под-

линное имя «коми» вернула им лишь пролетарская революция. Само собой понятно, что в наши дни колонизаторская кличка «зыряне» должна быть беспощадно ликвидирована: в нашей стране нет «оттесненных», и возрожденный народ коми — равноправный член великой семьи народов СССР, под знаменем Ленина — Сталина строящих свою счастливую жизнь и культуру.

II

Основоположником современного литературного языка коми надо считать Ивана Алексеевича Куратова (1839—1879). Это был типичный шестидесятник, представитель тех революционных настроений, которые охватили в 1840—1860-х годах крестьянство всей тогдашней России. Сын бедного сельского дьячка, отказавшись от духовной «карьеры», он пошел в университет, чтобы овладеть вершинами современной ему науки. Незаурядный лингвист, талантливый поэт, произведения которого на коми-языке впервые были напечатаны лишь в 1932 году, Куратов по своим философским взглядам был близок к Чернышевскому и Добролюбову. Им впервые с действительно научной точки зрения была изучена живая речь коми.

Есть данные думать, что переселение Куратова в 1867 году из Европейской России в Среднюю Азию было не добровольным; повидимому, он был выслан туда царским правительством. Вероятно, в предыдущие (1860—1866) годы, будучи в Москве и Казани, он завязал связи с тамошними революционными кружками.

Для характеристики творчества Куратова приводим два его стихотворения (в переводах Ив. Молчанова). Первое написано в 1866 году с явным намеком на царя Александра II и наступившую реакцию (сожжение тетради в ка-

мине), которая все же не меняет взглядов поэта. Второе, относящееся к 1867 году, показывает его взгляды на национальный вопрос.

МУЗА

Ме́нам Муза
Абу вуза[7].
На базар стихи не посылаем
Покупателей своих не знаем.

С Музой милой
Знаем силу:
Коль сфальшивим,
То — между собою.
Кто нам фальшь укажет?
Нас лишь двое!

Тайно дома высмеем кого-то.
И тетрадью синей
Пламя ярче в отдых от работы
Разожжем в камине.

Скоро, верим мы
Своей надежде,
По-иному выйдет тема;
И поэма
Нам покажет красочней, чем прежде,
Ханжество в монашеской одежде,
Паразита на верхах сословий,
Нашею окрашенного кровью,—
И людей, чья жизнь — одно ненастье,
Ждущих после смерти счастья.

Менам Муза
Öз ло вуза[8].

*

Что вы спорите и в ругань
Фигой дразните друг друга?
«Коми будет русским скоро»...
Ждете вы чего от спора?

Может быть, и станет коми
Русским, ненцем или суоми[9],—
Все равно себя не сломим;
Об одном мечту лелеем:
Быть культурней, быть умнее.

Русский перевод стихов Куратова, с более детальными материалами о нем, подготовляется в настоящее время к изданию в связи с предстоящим столетием со дня его рождения.

III

Совершенно иную фигуру представляет современник Куратова, Г. С. Лыткин (1835—1907). Будучи сыном мелкого торговца, он явился выразителем патриархальных настроений отсталого крестьянства одной из угнетенных, малочисленных — а потому и бессильных в борьбе с царизмом — народностей. Отсюда его стремление к «верноподданнической» легальности, «борьба» за «право»... молиться на своем языке. Фактически Лыткин служил великодержавным интересам царского правительства. Его работы по языку коми написаны на двадцать лет позже Куратова, с явным учетом трудов последнего и диаметрально противоположными выводами. Единственная для нас положительная черта деятельности Лыткина — это та, что он первый начал собирать коми-фольклор и материалы по истории коми[10].

Хотя более поздние коми-националисты и считали Лыткина своим прародителем, называя его «Ыджыд-ай» (буквально — «большой отец»), все же и для них, сторонников буржуазно-автономистского разрешения национального вопроса, он был чересчур «верноподданным». Потребовались другие, дополнительные, «ыджыд-ай'и», и главным из них явился этнограф и философ, профессор К. Ф. Жаков (1865—1926), умерший в белой эмиграции. Он-то и был

одним из самых деятельных проповедников «возрождения» никогда не существовавшей «Биармийской державы». Его-то идеи и проводили в годы гражданской войны коми-националисты: поп-расстрига, член государственной думы Д. Я. Попов и правый эсер Латкин, организатор белогвардейских банд в Коми-области.

Но вопрос об автономии коми разрешился совершенно иначе, чем это думали националисты. Народные массы коми решительно выступили на стороне Советской власти. По окончании гражданской войны, в ходе которой были разбиты и уничтожены и банды Латкина и отряды генерала Миллера, в составе РСФСР была создана (22/VIII 1921 года) автономная область Коми. Несколько позже (в конце 1925 года) был создан Коми-округ (в Свердловской области)

Только победа пролетарской революции смогла дать вчерашним «оттесненным» действительную свободу; только в результате последовательного проведения ленинско-сталинской национальной политики смогли трудящиеся Коми-области стать равноправными гражданами Союза ССР.

Однако, трудящимся Коми-области и после 1921 года, почти до 1934 года, пришлось еще немало бороться со сторонниками буржуазно-националистических идей, отражавшими настроения кулачества, являвшегося их классовой базой. Отдельным представителям классового врага удавалось даже пробраться в партию.

1929 год, год великого перелома, был для Коми-области вдвойне значителен: в этом году область вошла в состав Северного края, что обеспечило ей и помощь пролетарских районов Севера и большевистское руководство Северного крайкома ВКП(б). Результаты сказались сразу же в виде массового вступления крестьян в колхозы, успешного проведения ликвидации кулачества как класса и усиления темпов лесозаготовок.

Дальнейший рост Коми-области нашел свое отражение

и в сталинской конституции: статья двадцать вторая проекта предусматривает преобразование этой области в автономную социалистическую советскую республику.

IV

До Октябрьской революции у коми не было ни своего алфавита, ни своих газет или журналов. Издавались на коми-языке лишь религиозные книги (русским шрифтом). На весь край была одна кустарная типография.

После Февральской революции начали выходить лишь небольшие правоэсеровские газетки. Большевистские парторганизации оформились позже.

Органом большевиков стала газета «Зырянская жизнь», издававшаяся на русском языке и отвоеванная ими у правых эсеров. С 1927 года она перешла целиком на коми-язык. Вокруг этой газеты и сформировалось первое поколение советских коми-писателей: из дореволюционных — В. Т. Чисталев (литературное имя — Тима Вень) и А. А. Маегов (литературное имя — Варыш), из послереволюционных — В. А. Савин (литературное имя — Нёбдинса Виттор), И. Т. Чисталев (литературное имя — Жан Морэс, ум. в 1923 г.) и другие.

Одновременно с этим шло создание коми-алфавита и выработка литературного коми-языка.

Алфавит впервые был разработан еще в 1918—1919 годах В. А. Молодцовым на русской основе. В 1932—1934 годах была попытка перейти к латинизированному алфавиту, но она признана была в условиях Коми-области нецелесообразной, и с 1935 года Коми-область вернулась к «молодцовскому» алфавиту [11].

Не обошлось без колебаний и в вопросах языка: националисты совершенно отвергали введение русских слов; великодержавные шовинисты вообще отрицали право на

существование коми-языка. Известное кустарничество в этой области наблюдается, к сожалению, и доныне. До сих пор нет словаря всех говоров живого коми-языка; нет ни научно разработанной грамматики, ни твердых принципов правописания: пишут кто как умеет. В отдельных случаях наблюдается неумеренное введение русских и интернациональных терминов, создающее какой-то особый язык, одинаково непонятный как для коми, так и для русских.

Литературные работники слабо используют богатейшие возможности живого языка коми и, прежде всего, далеко не в достаточной мере освоили материалы коми-фольклора. Собиранию и изучению фольклора еще не придано то значение, которое оно имеет, особенно сейчас, в ту пору бурного расцвета народного творчества, какою являются переживаемые нами годы. Социалистическая переделка деревни вместе с тем стирает в народной памяти и дореволюционный фольклор, несомненно имеющий также большую ценность как историко-бытовой материал, на котором будущие поколения социалистического человечества смогут ознакомиться с тем, каким мучительным путем пришло человечество к коммунизму.

Но все перечисленные выше ошибки и недостатки являются, разумеется, лишь «болезнями роста», которые преодолеваются и будут преодолены. Уже и сейчас, несмотря на эти ошибки, мы имеем значительные успехи в деле создания коми-литературы «национальной по форме и социалистической по содержанию» (Сталин).

Имеются и кадры своих специалистов в различных областях хозяйственного и культурного строительства, в том числе и в области работы над грамматикой, словарем, фольклором и так далее.

Коми-издательство, организованное в 1920 году, также имеет на сегодня неплохие результаты. Если за первые десять лет (1920—1930) оно выпустило всего до 300 печатных листов, то за последние 6 лет оно изда-

вало по 400 печатных листов в среднем за один год. Все учебники для начальной и неполной средней школы уже переведены на язык коми. Область имеет 16 своих газет: из них 3 областных (общий тираж 8 000), а из остальных (общий тираж 11 575) — 12 районных и 1 политотдельская.

Тяжелее всего далось коми-литературе создание своего литературно-художественного журнала. Выходивший в 1922 году журнал «Парма-Йоль» («Лесной ручеек») прекратился на втором номере. В 1924—1925 годах был создан литературный отдел в краеведческом журнале «Коми-Му» («Страна коми»), но в те годы и сам журнал этот во многом являлся рупором буржуазного национализма. Наконец, в 1926 году возник журнал «Ордым» («Тропинка»), подготовивший основные кадры современных коми-писателей. «Ордым» являлся органом коми-ассоциации пролетарских писателей (КАПП), в которой, по существу, не было ни одного чисто-пролетарского писателя. В КАПП входили советские писатели преимущественно с крестьянской тематикой. Попадались даже отдельные представители националистических взглядов. В руководстве коми-литературой последнего времени также наблюдались нездоровые явления: «загибы» РАППовского типа, с которыми Северный крайком уже с 1931 года вел борьбу. Но окончательно ликвидированы они были после исторического постановления ЦК от 23 апреля 1932 года.

В настоящее время (с 1931 года) в Коми-области издается журнал «Ударник», являющийся органом Коми-правления Союза советских писателей. Оздоровление руководства областью не замедлило отозваться благоприятно на дальнейшем росте коми-литературы и в частности на развитии молодой коми-прозы, первые опыты которой появляются лишь в 1925 году. Поэзия, как мы видели, существовала и раньше, зародившись еще во второй половине XIX века.

V

Задача настоящего сборника — познакомить русского читателя с фольклором и творчеством советских писателей народа коми. Как первый опыт в этом направлении, он, понятно, не лишен весьма существенных недостатков.

В соответствии с основными этапами исторического развития народа коми, весь материал разделен нами на три больших отдела.

В первом представлено (главным образом на фольклорном материале) дореволюционное положение народа коми, веками томившегося в «тюрьме народов», какою была царская Россия. Но не только элементы гнета, темноты и систематического «объегоривания» неграмотных коми (см. сказку «Дядя Юра», стр. 51) со стороны их более «просвещенных» соседей отражены в этом фольклоре. Здесь же нашла отражение и та ненависть к колонизаторам, которая позже перевоплотилась в единодушное участие трудовых масс коми-народа в вооруженной борьбе за завоевания Октября; здесь же отображены и их стремления отплатить своим угнетателям и покончить с ними (см. сказки «Дочь солнца», стр. 53 и «Макар и семеро братьев», стр. 72).

Второй отдел как раз и знакомит нас с этим участием коми-народа в борьбе за завоевания Октября, против всех белогвардейских попыток «вернуть прошлое». В этом же отделе отражены и первые сдвиги в психике коми-крестьянина, дальнейшая переделка которой составляет одну из основных внутренних тем третьего отдела сборника (особенно см. рассказы Федорова «В половодье», стр. 171 и «Однажды ночью», стр. 205).

Колхозы и лес — вот основные стержни третьего отдела, как и самой жизни Коми-области. Властно врываются теперь в парму новые звуки: звуки социалистической индустрии и создаваемой ею культуры и техники. Они и соз-

дали у поэтов новый мир идей и образов (см. стихотворения В. Латкина «Сказка тундры», стр. 266 и М. Лихачева «На новом шоссе», стр. 275). Лишь на этом пути осуществились вековые крестьянские мечты о «счастьи», испокон веков представлявшемся как зажиточная жизнь (см. рассказ И. Изъюрова «Счастье», стр 242).

Особенно наглядно это видно на положении коми-женщины. Не случайно в упомянутом рассказе Изъюрова мы имеем дело не с колхозником, а с колхозницей. До революции коми-женщина была вдвойне угнетена: она являлась рабыней колониального раба, зачастую вымещавшего на ней злобу на окружающую его беспросветную обстановку. Едва войдя в возраст, девушка превращалась в «товар»; ее спешили выдать замуж, обрекая на незавидную и тяжелую долю (см. стихотворение А. Зубова «Бездомная кукушка», стр. 93).

Понятно, что наиболее передовые коми-женщины, вместе с мужьями и братьями, смело пошли добровольцами на фронт гражданской войны. Немало женщин-героинь было среди коми-крестьянства; никогда не забудется имя комсомолки Домны Каликовой, замученной белобандитами.

Сегодня коми-женщина, как и весь советский народ, как все женщины великой Советской страны,— равноправный строитель своего счастья. Об этом и говорят нам образы современных женщин и девушек — колхозниц коми, так тепло и любовно обрисованные коми-писателями (см., кроме указанного рассказа, стихи М. Лихачева «Эгрунь», стр. 255 и Г. Шахова «Если опоздаешь», стр. 257).

Таков план настоящего сборника. Перейдем же теперь к самым кратким характеристикам отдельных, представленных в сборнике, коми-писателей.

Лебедев, Михаил Николаевич (Юсь).

Старейший из современных советских коми-писателей. Родился в 1867 году в семье бывшего русского крепост-

ного; по матери — коми. Печататься начал, еще будучи волостным писарем, в 1900 году на русском языке в разного рода изданиях, где поместил ряд реакционно-романтических «исторических» произведений. Сам Лебедев поясняет свои тогдашние настроения (в личном письме к автору настоящей статьи от 26 ноября 1933 года) отсутствием образования и реакционно-руссификаторской средой попов, писарей, фельдшеров и тому подобных лиц, во власти которой он находился.

После 1905 года Лебедев пытался создать ряд более реалистических произведений, но из них только автобиографическая повесть «В волостном омуте» («Воспоминания бывшего волостного писаря»), начатая печатанием в 1915 году в скоро закрывшемся журнале «Ратоборец», заслуживает, с частичной переработкой, переиздания. На коми-языке Лебедев начал писать лишь в 1913 году, причем его стихотворение «Коми-збойлун» («Бодрость, коми!») явилось в то время гимном коми-националистов.

После Октября Лебедев без колебаний пошел на советскую службу, но идейно еще долго оставался чужд нам. Лишь окончательная победа социализма и переход деревни на путь коллективизации расширили кругозор и политическое сознание Лебедева, и он с несколько бо́льшим пониманием и более сочувственно начинает отражать нашу действительность (см. его басню «Педя и Родя», стр. 168).

В 1934 году, в связи с тридцатипятилетием его литературной деятельности, КомиГИЗ выпустил однотомник его избранных произведений.

Чисталев, Вениамин Тимофеевич (Тима Вень).

Родился в 1890 году, писать начал под влиянием революции 1905 года, с 1908 года. Первое произведение — стихотворение «Шойданник» («Босяк»), дающее образ, напоминающий босяков раннего Горького. Поскольку поэтическое наследство Куратова долгое время оставалось

под спудом, Чисталев также должен быть признан одним из основоположников доступного массам коми художественного слова.

До войны был народным учителем, боровшимся с реакционной частью учительства, в частности, по вопросу о преподавании на родном языке. В те же годы собирал фольклор, из которого в основном и вырастает все его поэтическое творчество; переводил на коми-язык Гейне и Некрасова.

В империалистическую войну был взят в армию; в 1917 году попал даже в офицерскую школу, но за сочувствие большевикам вскоре был оттуда изгнан. На империалистическую войну Чисталев откликнулся стихотворением «Бöрд, коми йöз» («Плачь, коми-народ») и — значительно позже — повестью «Шойна» («Поле смерти»), отрывок из которой мы даем в нашем сборнике (см. «За царя», стр. 97). В этой повести очень ярко показаны переживания наиболее забитых «детей пармы», подготавливаемых к роли «пушечного мяса».

Годы войны расширили общественно-политический кругозор Чисталева и привели его на позицию безоговорочного сочувствия большевикам и поддержки Советской власти. В 1919—1920 годах он был в рядах красных партизан. В это же время слагает он свою поэму о «безумстве храбрых», «Тöвйыв Варыш»,— на сюжет Песни о Соколе» М. Горького,— жемчужину коми-поэзии, доселе непревзойденную по мастерству формы и богатству языка.

1920—1933 годы Чисталев, которому Октябрьская революция впервые открыла дорогу к массовому читателю, работает в агитгруппе, затем в подотделе нацменьшинств Северо-Двинского губоно (особенно велики здесь его заслуги по созданию коми-письменности и школы на коми-языке), наконец, вновь возвращается к учительству, а с 1933 г. переходит исключительно на литработу.

Пишет Чисталев непрерывно, но печатает немного: он

очень требовательный художник, исключительно строгий к себе и публикующий лишь то, что уже отлилось в совершенную для данного содержания форму. По своему творческому облику и личной биографии Чисталев — типичный выразитель настроений трудового коми-крестьянства, середняка, выступившего как союзник пролетарской революции. Все эти качества и сделали его, наряду с В. А. Савиным, любимым писателем народа коми.

В 1927 году В. Т. Чисталев написал поэму «У мавзолея Ленина» (см. стр. 149). В ней особенно ярко показано, как священна и незабвенна для каждого честного сына советской армы память величайшего гения человечества, бессмертного Ленина, олицетворившего собою интернациональный характер нашей революции.

В 1929 году Чисталев написал рассказ «Трипан Вась» (см. стр. 140). Герой этого рассказа представляет собою дальнейшее развитие типа того же Сергея Вася из повести «Шойна». Сам рассказ на материале 1919—1920 годов ярко и убедительно показывает массам коми-крестьянства невозможность оставаться дольше на путях единоличного хозяйства. В настоящее время Чисталев работает над романом об индустриализации области. Перевел на коми-язык роман М. Горького «Мать» и ряд других его произведений. В 1933 году общественность Коми-области торжественно отметила двадцатипятилетие его творческой деятельности. Первый том его собрания сочинений был выпущен Центроиздатом еще в 1928 году, второй — КомиГИЗ готовит к пятнадцатилетию Коми-области.

Савин, Виктор Алексеевич (Нёбдинса Виттор).

Родился в 1888 году в семье крестьянина-бедняка, работавшего дроворубом-сезонником на уральских металлургических заводах. Савин и сам — с 1906 по 1918 год — работал, сначала дроворубом, а затем конторщиком, на различных рудниках Урала и Криворожья, живя, таким

образом, одной жизнью с беднейшим коми-крестьянством, занимавшимся до революции отходничеством на заводы. Эти же моменты биографии дали ему и непосредственную связь с рабочим классом.

После революции Савин, член партии, работает в газетах, являясь одним из основных работников периодической печати коми в эти годы. Его стихотворение «Гӧрд звӧн» («Красный звон»), помещенное в газете «Зырянская жизнь» от 18 августа 1918 года, является первой ласточкой послеоктябрьского расцвета художественного слова коми. Несмотря на ряд срывов и ошибок в своем жизненном и творческом пути, Савин имеет очень большие заслуги в деле культурного строительства Коми-области. Его произведения первого десятилетия после Октября — поэтическая летопись всех этапов участия народа коми в деле защиты завоеваний Октябрьской революции и социалистическом строительстве. Многие его стихи и песни уже стали достоянием народных масс, как фольклорный материал.

Савин не только поэт и журналист. Он проявил себя как критик, драматург и композитор. Им написано около двадцати пьес, которые, однако, не все имеют равную художественную ценность. Лучшими являются комедии «В раю» и «В аду» и драмы «Кулемдинский бунт» (о восстании коми-крестьян в 1842—1843 годах) и «Цветок, засохший на восходе».

К сожалению, недостаточный культурный уровень затруднил рост поэта, и за последние годы Савин начал отставать от требований своего читателя. Надо признаться, что отставание от того высокого идейного содержания, которое дает сталинская эпоха,— не единичное явление у коми-поэтов. Случается поэтому, что их стихи превращаются в голые рифмованные лозунги, естественно, не удовлетворяющие читателя, небывало выросшего в культурном отношении за годы великих пятилеток. Хочется, однако,

надеяться, что такой поэт, как Савин, безусловно сумеет выправиться, наверстает упущенное и вновь займет подобающее ему почетное место в ряду коми-поэтов.

Думать так дает нам право помещенное в нашем сборнике новое (1936 года) стихотворение Савина «Спасибо товарищу Сталину» (стр. 9), в котором поэт прекрасно выразил горячую любовь и беззаветную преданность трудовых масс коми вождю народов тов. Сталину и руководимой им ленинской партии.

Кроме этого стихотворения, Савин представлен в нашем сборнике двумя отрывками из поэмы «Сыктывкар» (стр. 115) и стихотворением «Коми-море» (стр. 165). Вещи эти показывают, как менялись его темы в соответствии с изменением окружающей действительности. Подбор произведений определился самой тематикой сборника, рассчитанного на то, чтобы с возможной полнотой показать различные стороны и этапы развития области.

Двухтомное собрание сочинений Савина издано Коми-ГИЗом в 1931—1932 годах.

Федоров, Геннадий Александрович (Педь Гень).

Родился в 1909 году, печатается с 1927 года. Литературное ученичество его кончилось, примерно, в 1931 году, но лишь 1935 год показал в нем вполне созревшего, талантливого прозаика.

Федоров с 1925 года член ВЛКСМ; человек целиком советской формации. Основная его тема — показ социалистической перестройки коми-деревни. Как талантливый художник, Федоров умеет глубоко-правдиво вскрыть психологию человека наших дней, изживание им пережитков капитализма в своем сознании и выработку в процессе классовой борьбы социалистического сознания. Именно таковы темы его рассказов «В половодье» (стр. 171), взятого из сборника «Поворот», и «Однажды ночью» (стр. 205). Кроме того, Федоровым написаны повести «Серый теле-

нок» и «Лесная драма» и первая часть романа «Утро деревни».

Изъюров, Иван Васильевич (Изъюр Иван).

Родился в 1910 году, пишет с 1926 года. По своей тематике близок к Федорову; основное различие между ними в разработке этих тем; если Федоров является мастером в изображении психологических переживаний, то у Изъюрова преобладают черты мыслителя, стремящегося глубже вскрыть и показать все корни описываемых им явлений.

Наиболее значительные его вещи: сборник «Счастье» (из него нами взят одноименный рассказ,— см. стр. 242,— идейно и тематически определивший название сборника) и повести «Бригада Тимофея» и «Проступок Доментия»,— последняя на тему о классовой борьбе вокруг механизации лесозаготовок. Выгодно отличает Федорова и Изъюрова от большинства коми-писателей то, что они упорно работают над собой: учатся и овладевают классическим наследством, в то же время непосредственно общаясь с объектами своего творчества. Это и помогает их быстрому и значительному росту.

Кроме рассказа «Счастье», в сборнике дан рассказ Изъюрова «Дед Влас пустился в пляс» (стр. 196).

Щеболкин, Павел Андреевич (Выль Паш).

Родился в 1907 году. Вырос сиротой, несколько лет батрачил, затем работал курьером, окончил совпартшколу 1-й ступени.

Основная тематика Выль Паша — героика гражданской войны и пафос социалистического строительства. В 1932 году Коми-ГИЗом выпущен сборник его стихов «Крылатые годы», сейчас печатается второй сборник.

В наш сборник вошли отрывки из его поэмы «Неугасимые звезды» (стр. 118) и стихотворение «Под старой лиственницей» (стр. 137).

Из молодых коми-писателей следует отметить В. П. Латкина, который был первым, кто ввел (и довольно удачно) в коми-поэзию тему индустриализации области (см. «Сказка тундры», стр. 266) и А. П. Размыслова, представленного в нашем сборнике стихотворением «Молодость» (стр. 201).

Кроме этих, наиболее крупных, в Коми-области есть еще целый ряд писателей. Из них назовем прозаика и поэта Г. А. Шахова (Сандрик Иогор), представленного в сборнике рассказом «Алеша» (стр. 124) и стихотворением «Если опоздаешь» (стр. 257), и прозаиков: Н. П. Попова, М. П. Доронина, М. Г. Доронина, И. И. Пыстина, И. Осипова, И. Сажина и других.

Наряду с Коми-областью, Коми-округ также имеет своих поэтов и прозаиков. Следует отметить, что вообще поэты Коми-округа в отношении поэтического мастерства стоят выше большинства поэтов Коми-области, за исключением В. Т. Чисталева и В. А. Савина. Сообщим, в заключение нашей статьи, такие же краткие сведения и о представленных в сборнике писателях Коми-округа.

Лихачев, Михаил Павлович.

Родился в 1901 году, по образованию педагог, составитель ряда учебников для начальной и неполной средней школы и в то же время очень плодовитый и талантливый поэт и прозаик. Работает и как переводчик: им переведены на говор Коми-округа «Мать» М. Горького, «Мороз-Красный нос» Некрасова и сейчас переводится «Поднятая целина» Шолохова. Тематика его оригинальных произведений — социалистическая переделка лица Коми-округа и

вырастающие в этом процессе люди. Им выпущены несколько сборников стихов («Первые всходы», «Безмежное поле», «Золотые дни» и другие) и рассказы («Красное знамя», «Бескрестная», «По новому пути» и другие).

В 1936 году вышла его повесть «Менам зон» («Мой сын»), в которой с большой силой обрисован образ положительного героя нашей эпохи, из «сына горя и нужды» (Сталин), представителя наиболее забитых слоев национальной деревни, вырастающего в огне гражданской войны в пролетарского революционера-большевика. Повесть безусловно заслуживает перевода на русский язык.

В нашем сборнике творчество Лихачева представлено рядом стихотворений, дающих общее понятие о его писательском облике: «Эгрунь» (стр. 255), «Лес шумит» (стр. 163), «На новом шоссе» (стр. 275).

Зубов, Андрей Никифорович (Питю Öньö).

Родился в 1901 году. Так же, как и Лихачев, педагог и автор ряда учебников. Зубов — прекрасный знаток фольклора и в поэзии своей, в основном отражающей дореволюционное положение Коми-округа, целиком базируется на фольклорном материале. Представление о нем именно с этой стороны дает и его стихотворение «Бездомная кукушка» (стр. 93).

Н. В. Попов (Василь Миков) и С. И. Караваев (Иву Стёпко), недавно выступившие с первыми сборниками стихов,— представители уже «второго поколения» поэтов Коми-округа, целиком сформировавшегося в условиях советской действительности. Они еще не совсем вышли из периода литературного ученичества, но подают уже все основания для больших надежд.

Оба эти молодые поэта также представлены в нашем сборнике: первый — стихотворением «Лукошко» (стр. 203); второй — стихотворением «Письмо» (стр. 262).

А. А. Попов.

«Что такое национальная культура при господстве национальной буржуазии? Буржуазная по своему содержанию и национальная по своей форме культура, имеющая своей целью отравить массы ядом национализма и укрепить господство буржуазии. Что такое национальная культура при диктатуре пролетариата? Социалистическая по своему содержанию и национальная по форме культура, имеющая своей целью воспитать массы в духе интернационализма и укрепить диктатуру пролетариата... Разве не ясно, что, борясь с лозунгом национальной культуры при буржуазных порядках, Ленин ударял по буржуазному содержанию национальной культуры, а не по ее национальной форме?..

Надо дать национальным культурам развиться и развернуться, выявив все свои потенции, чтобы создать условия для слияния их в одну общую культуру с одним общим языком. Расцвет национальных по форме и социалистических по содержанию культур в условиях диктатуры пролетариата в одной стране для слияния их в одну общую социалистическую (и по форме и по содержанию) культуру с одним общим языком, когда пролетариат победит во всем мире и социализм войдет в быт, — в этом именно и состоит диалектичность ленинской постановки вопроса о национальной культуре». (И. Сталин, «Вопросы ленинизма», издание 10-ое, стр. 425—427. Подчеркнуто тов. Сталиным.— А. П.)

ИВАН МОЛЧАНОВ

РАЗГОВОР ПРИ ЛУНЕ

Ночь тиха.
Над Сыктывкаром [12]
Шири неба в аккурат —
Необъемлемым пожаром
Звезды крупные горят.

Звезды — камни, звезды — зерна,
Голубой реки шуга... [13]
Нам с тобою не зазорно
Лунной улицей шагать.

Что мы,
Что мы натворили!
Ты ответа не готовь...
Мы с тобой не говорили
Про луну
И про любовь.

Лунной улицей шагая,
Не о них вели мы спор,
И ни та,
И ни другая
Не вплетались в разговор.

Он начался с полуфразы,
С полуслова, этот шквал:
Я края твои не к часу
«Глушью темною» назвал.

Что я сделал!
В лунном блике —
Не скрывай и не таи —
Ярче летней земляники
Щеки вспыхнули твои.

В том сугробе,
В том квартале
Не забуду твой ответ:
— Это вам про глушь наврали,
Уважаемый поэт!

Верно:
Лес у нас что надо.
Верно:
Рек у нас — не счесть...
Наша гордость и отрада,
Наша слава, наша честь...

Но в лесах широкой Коми,
По разливам светлых рек
Проходил не раз гидрометр
Коми вдоль и поперек.

Он отметками на рейках
Ставил уровень весны...
Даже воды
В наших реках
До иоты учтены!

Ил по Сысоле наносен,
Небо ясно,
Берег крут...
Кубометры наших сосен
Вниз по Сысоле плывут.

Молевых массивов[14], или
Пласт плотов — задержит ил?..
Это мы
Леса будили
Оркестровым вихрем пил.

Это мы
Под вешним ветром
Песней вспенили простор,
Чтоб мильярды кубометров
Уплывали на Кардор[15],

Чтоб стране машин и хлеба
Было вдоволь...
Погляди ж:
В городах уходят в небо
Молодые ребра крыш!

Большевистской пятилеткой
Край выходит на парад.
По-над Ибом,
По-над Леткой
Провода о том гудят.

Радость нам, врагу на горе,
В недрах взорванных годов —
Вырастают на Печоре
Городища городов.

В городах,
На партах вуза —
Ширь высокому уму...
Часть Советского союза,
Вырастает Коми-му [16].

Вот она — как на ладони!..
Ей ли глушь
И глушь веков?
Над землей несутся кони
Океанских облаков,

И в полях,
Под небом синим
Вянет прошлого гряда.
О весне поют осины,
О республике труда.

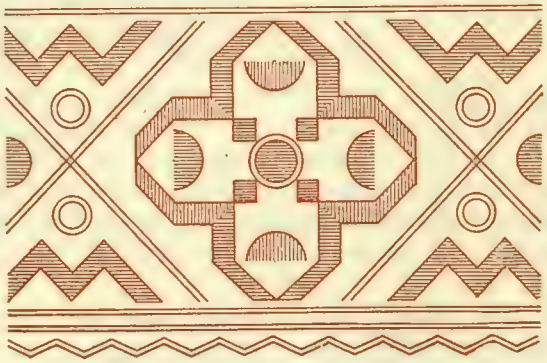
Новой жизнью необъятной
Расцветает вешний край...
Будет, будет сам десятый
Наш колхозный урожай.

И над ширью урожая
Солнце новое встает...
А про глушь, мой друг, чужая
Песни иволга поет.—

*

Ночь тиха.
Над Сыктывкаром
Шири неба в аккурат —
Необъемлемым пожаром
Звезды гордые горят.

В ТЮРЬМЕ НАРОДОВ



ИЗ ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО ФОЛЬКЛОРА
ЛЕГЕНДЫ и СКАЗКИ

ЯГ-МОРТ

В очень давние времена появился на берегах реки Кучи, что течет в Ижму, страшный человек, такой страшный, что если он по лесу шел — руками сосны раздвигал, чтоб проходить не мешали, полным голосом говорил — сильный ветер заглушал.

Ужасную образину имел Яг-Морт[17]: лицо черными волосами заросло, глаза налиты кровью, одежда из медвежьей шкуры,— зверь, а не человек. Никто не знал, откуда появилось на Куче это чудовище. Говорили, что вырос Яг-Морт в дремучих запечорских лесах, и лет ему было столько же, сколько тем лесам. Жил он одиноко — в местах неприступных, за непроходимыми болотами, а в селах коми он появлялся лишь затем, чтоб убивать и грабить.

Выберет ночь потемнее, зажжет деревья и в суматохе пожара делает, что только его кровожадная душа хочет. Уводит жен, уводит детей, угоняет скот, режет его на месте. И так ненавидел Яг-Морт все живущее на свете, что убивал каждого встречного и поперечного. Выведенные из терпения коми всеми способами старались извести разбойника: ловили его, как дикого зверя, строили за-

сады, выкапывали ямы,— ничто не помогало: на хитрость Яг-Морт отвечал хитростью, а померяться с ним силой в открытую никто не решался. Во всем Запечорьи не находилось молодца ему по плечу. К тому же слыл Яг-Морт великим колдуном. Оспу, болезни, падеж скота, бездождие, безветрие, летние пожары — все насылал он на народ. Повелевал ветрами, помрачал солнце, луну и звезды, и не было предела могуществу этого злого колдуна-разбойника.

Однажды у старшины одного из селений пропала красавица-дочь Райда. Это была девка, какой и не видывали еще между коми. Проходит день, проходит два, неделя прошла,— нет Райды. Мать глаза выплакала; отец с женихом все селения вокруг исходили, все леса исходили,— нет, не нашли Райды. Кликнули они клич, созвали народ на совет, объявили свое горе — и все, от малого до старого, порешили, что самой Райде потеряться негде, а похитил красавицу-коми Яг-Морт, уволок в свою звериную берлогу. А на Яг-Морта кого просить будешь? Где на него суд найдешь? Погибла Райда! Потолковали, пошумели и разошлись по домам, ничего путного не придумав.

Да не так порешил удалой жених Райды. Собрал он своих товарищей, все Запечорье поставил на ноги и порешил во что бы то ни стало отыскать жилище Яг-Морта и схватить окаянного колдуна живого или мертвого или сам погибнуть. Вооружилась молодежь стрелами, копьями, пешнями, вилами,— кто чем мог,— и двинулась в поход. Хоть и много их было, но со страхом ожидали они встречи с силачом-разбойником. Так бродили они несколько суток по лесам, искали тропу Яг-Морта, по которой уходил он к Ижме, и в темном дремучем лесу напали наконец на дорогу, пробитую чудовищными ногами колдуна. Решили коми, что по этой тропе Яг-Морт должен ходить часто, и засели в засаду возле самой тропы, в густом

лесу на угоре реки Ижмы. Долго ли, коротко ли таились они в засаде, но только однажды видят: переходит Яг-Морт Ижму вброд, прямехонько против того места, где они притаились. Только Яг-Морт вступил на сухой берег — копья, стрелы, камни так на него и посыпались. Остановился было разбойник, посмотрел на противников грозным своим кровавым взглядом, взревел и кинулся в самую их гущу, размахивая палицей. И началось страшное побоище. Много голов размозжила палица Яг-Морта, многих изуродовала, но изнемог и сам он: без устали разили его копьями, стрелами и камнями. Изнемог он и грохнулся на землю. Тут навалились на него коми, отрубили ему обе руки и пригрозили снести голову, если он не покажет им своего жилища.

Покорился колдун, повел их в самую гущу леса, где на высоком берегу Кучи выкопана была просторная пещера, убежище великана Яг-Морта. Рядом с пещерой на куче всякого хлама и костей лежал полусгнивший труп человека. Это была красавица Райда.

В самой пещере нашлось много всякого добра. Сложили коми все найденное в кучу и сожгли, а пещеру засыпали и завалили камнями. Потом привели Яг-Морта к месту, где они бились с ним, отрубили ему голову, вогнали в спину осиновый кол, чтоб встать не мог, и закопали в глубокую могилу...

КÖРТ-АЙКА

Этот колдун уж давно поселился на Эжве, но никто не знает, откуда он пришел. Старые люди говорили, что пришел со стороны Новгорода и сначала не понимал по-коми, но потом выучился говорить не хуже нашего.

Сначала жил он мирно и спокойно, ловил птиц и зверей, но потом вдруг поссорился с людьми селения, в ко-

тором жил, и все селение сжег до последней избы. Тогда-то и принялся он разбойничать. Сделал себе одежду из железа, надел на голову железную шапку, а через Эжву протянул железную цепь, которую сковал сам. Тогда никто у нас не умел ковать железо, только он один умел это. Делал он железо из какой-то твердой земли, сгибал его, ковал,— что хотел, то с ним и делал. Изба у него была тоже железная, лодка железная, лук и стрелы железные, все у него было из железа.

Оттого люди с Эжвы и прозвали его Кӧрт-Айка — железный свекор. И в самом деле был он железный свекор, железо его слушалось.

Начал он грабить встречного и поперечного. Никому прохода не давал. Железная цепь перегородила всю Эжву с берега на берег, никому не проехать. А где же эжвинским людям и ездить-то, как не по реке? Дорог-то ведь нет по берегам. Кто едет в лодке, тот и попадается в руки Кӧрт-Айка. Иного он оберет, иного отпустит, а иного и утопит безо всякой пощады.

Разбойничал он так не только по Эжве, но и по селам вокруг. Людей убивал, а скотину к себе волок. Говорили, что по целому быку в день съедал. Да и как не съесть? Туловище у него было непомерное; в плечах — косая сажень; голова — как пивной котел; силы на сто человек хватит. Колдовство его было самое страшное: по одному его слову меркли солнце и луна, день превращался в ночь, а ночь — в день, река текла вверх, засуха сушила землю. Слово скажет — такой дождь польется, что все избы несет в Эжву. Много бед терпел от него народ, а не было на него ни суда, ни расправы. Никто не смел померяться с ним силой.

Однажды плыл Пам[18] по реке, из Княж-погоста домой возвращался и наехал на железную цепь Кӧрт-Айка. А меж ними дружба была — оба великие колдуны.

Увидел Кӧрт-Айка, что Пам плывет, крикнул:

— Цепь, на дно!

Цепь, натянутая туго-туго, так была устроена, что по слову Кӧрт-Айка сейчас же опустилась на дно. Пам в лодке проплыл над цепью, и она снова поднялась кверху.

Поглядел Пам на Кӧрт-Айка, видит: варит он сусло, из железных корчаг в железные ушаты его сливает,— да и рассердился на Кӧрт-Айка, почему он поклона ему не отдал. А он уж за цепь-то переехал, не боится, что тот дороги ему не даст. И закричал Пам громким голосом:

— Сусло, стой!

И сусло остановилось: не варится и не льется.

— Ну-ну! — отвечает Кӧрт-Айка.— Раз сусло стой, то и лодка стой! Обоим обидно не будет.

И лодка Пама остановилась на самой середине реки. Никак ее с места не сдвинешь. А Кӧрт-Айка сидит на берегу да посмеивается.

Просидел Пам в лодке до тех пор, пока ему не наскучило, и крикнул на берег:

— Сусло, беги!

— Сусло беги — так и лодка плыви! — отвечал Кӧрт-Айка.

Тогда сусло побежало в ушаты, а лодка поплыла по реке.

Вот какой могучий колдун был Кӧрт-Айка!

ДЯДЯ ЮРА

Давным-давно жил дядя Юра. Не было у него ни сына, ни дочери, а только и были кошка, петух да топор. И начал дядя Юра думать: как бы к старости себя обеспечить? Надумал наконец, забрал с собой топор, кота и петуха и отправился с ними в лес. Смотрит: стоит возле дороги береза, и взялся ее рубить. Свалил березу, сделал из комля [19] лопату, из середины — балду, из вершины — голик [20] и пошел дальше.

Шел-шел, приходит наконец в одну деревню, глядит: колет один мужик дрова, а вместо балды кулаком по полену бьет.

— Эх ты, дядя! — говорит ему Юра.— Дров не умеешь наколоть. Дай-кось я попробую.

И начал колоть дрова. Ударит балдой — любое полено расколется. А сколько, наверное, времени мужик по тем поленьям кулаком бил? Говорит мужик дяде Юре:

— Не продашь мне балду?

— А много ль дашь?

— А много ль запросишь?

— Дашь сто рублей?

— Дам!

Мужик, ни слова не говоря, отдал дяде Юре сто рублей, взял себе балду, и оба остались довольны. Тогда пошел дядя Юра дальше, видит: другой мужик рожь на гумне руками веет. Говорит ему дядя Юра:

— Давай я тебе помогу!

Снял с плеча лопату и начал веять. Скоро у него дело пошло. Увидел мужик, спрашивает:

— За сколько продашь лопату?

— Сто рублей стоит моя лопата,— отвечает дядя Юра.

Отдал, не долго думая, тот мужик дяде Юре сто рублей, взял у него лопату, а дядя Юра отправился дальше. Прошел чуть-чуть, глядит: на другом гумне молотят, а зерно руками собирают. Остановился дядя Юра, говорит:

— Не руками нужно собирать зерно, а вот как!

И начал голиком мести.

Очень удивились молотильщики, спрашивают:

— Не продашь ли нам это?

— Дадите сто рублей — продам.

Без лишних слов отдали они сто рублей дяде Юре. А Юра и рад: триста рублей нажил! Пошел дальше, добрался до какой-то деревни, просится к одному дядюшке ночевать. Пустили дядю Юру хозяева в избу, а сами

устроились спать на вышке,— оказывается, в той избе «казались», и хозяева, опасаясь нежити, в избе не ночевали. Дядя Юра лег, пустил кота и петуха,— петух на шест забрался, а кот — на печку. Но не спится отчего-то дяде Юре,— все думается: что это его одного в избе оставили? А как только совсем стемнело, поползли из голбца [21] мыши, и наползло их видимо-невидимо. А коту, известно, там, где мыши, не спится. Спрыгнул он с печки, наубивал мышей гору, наелся досыта. А тех, что не поел, сложил на середине избы в кучу. Подошла полночь — петух запел.

Испугались его крика спавшие снаружи хозяева, даже посмотреть в избу не смеют. Однако, спустя некоторое время, входят в избу, видят: на самой середине пола спит Юра, а возле него целая куча мышей, и все мертвые.

— Вот оно какое наше «казанье-то» было! — воскликнули хозяева.

Проснулся Юра, спрашивают они у него:

— Как это ты сумел столько мышей поубивать, и кто это кричал ночью?

Рассказал Юра, что мышей поубивал кот, а кричали его часы — петух. Очень стали просить хозяева продать им кота и петуха.

— Дадите за них двести рублей, так и быть — отдам.

— Как не дать двести рублей за такие хорошие вещи!

Дали они тут Юре двести рублей, и стало у него всего пятьсот рублей. Пошел он домой и жить стал очень хорошо. Вот как дядя Юра учил и обманывал таких людей, как мы.

ДОЧЬ СОЛНЦА

Жили-были старик со старухой. На исходе жизни родился у них сын, и назвали его Иваном. Начал Иван расти. Прошел год, прошло два,— рассказать, конечно,

можно быстро, но прожить не так быстро,— исполнилось Ивану девять лет. Стал он проситься у своих родителей отпустить его искать его крестную.

— Что ты, Ваня? — отвечают ему родители.— Ты мал еще! Где тебе путешествовать!

Иван, знай, стоит на своем, просит насушить ему сухарей на дорогу. И наконец настоял-таки, отпустили. Вот идет он день, ночь, два дня, идет целую неделю и не встречает на своем пути ни деревни, ни жилья какого-нибудь. Пришел наконец к маленькой избушке на собачьих ножках, с блином вместо крыши.

— Есть кто-нибудь из жителей? — спрашивает.

— Есть, как нет! — отвечает из избы женский голос.

— Впусти меня отдохнуть! — просится Иван.

— Заходи!

Зашел Иван, а перед ним — его крестная.

— Откуда ты, Иванушка, свалился?

— Вышел на свет работы искать. Мать стара, отец стар, кормить их некому, я и пошел на заработки!

— Дело хорошее,— отвечает та.— Тут неподалеку царь живет, сходи-ка к нему, может быть, возьмет тебя в работники.

Идет Иван к царю. Садится возле крыльца.

— Ты чего тут? — спрашивает его прислуга.

— Работы жду.

— Нужен бы нам конюх. Старые конюхи запили, и царь на них сердится за то, что они и в конюшни-то не заглядывают. Хочешь — скажу про тебя царю?

— Да, я бы в конюхи пошел, если только царь возьмет.

Доложила прислуга царю:

— Царь-батюшка, хороший работник к нам в конюхи просится. Красивый и здоровый.

Зовет царь Ивана. И очень ему понравился Иван своим видом и здоровьем.

Определил царь Ивана в конюхи, пошел он в конюшню и стал там жить. А старые конюхи возненавидели Ивана; только и думают, как бы ему навредить. Как-то говорят царской прислуге:

— Уж больно хвастает новый конюх-то! Обещает достать в жены царю самое дочь солнца.

— Царь-батюшка, — докладывает прислуга царю,— новый конюх хвастается достать тебе в жены дочь солнца!

Задумался царь: «Неужели и в самом деле может Иван достать дочь солнца?»

Вызывает Ивана к себе:

— Ты, говорят, можешь достать мне в жены дочь солнца? Ну, иди и приведи ее!.. Не приведешь — голова с плеч долой!

Опечалился Иван, думает:

— Ну, пропал я, если не поможет мне крестная!..

Выдал царь Ивану лошадь, на той лошади он и поехал. Ехал, ехал, наконец приехал к своей крестной.

— Ой, крестная,— говорит,— если не выручишь ты меня из беды — пропал я! Послал меня царь-батюшка достать ему в жены дочь солнца. Откуда ж я ее достану?

— Достать-то ты сможешь,— отвечает крестная,— только сначала вернись к царю и попроси у него бочку пива с сахаром, бочку виноградного вина, бочку простого вина, шелку, крученой проволоки, медной проволоки и тюк простой проволоки. Все это привезешь и сложишь у моря. Ровно в полдень дочь солнца будет у взморья на корабле кататься, выйдет на берег, захочет товар посмотреть. Ты спрячься, подкарауль и увези.

Возвращается Иван к царю. Просит у него все, о чем говорила крестная. Царь разрешил все ему выдать. Весь товар привез Иван к морю и начал раскладывать: сначала бочку пива, потом бочку виноградного вина, потом бочку простого вина. Разложил и спрятался за куст, а возле себя положил тюки с проволокой.

Показывается через некоторое время корабль. И действительно, видит Иван на корабле такую красавицу, что в глазах рябит. Корабль останавливается у берега, и красавица с него сходит. Заметила бочки,— любопытно ей: что в бочках? Приоткрыла бочку с пивом, попробовала. Понравилось. Иван, конечно, молчит. Приоткрыла бочку с виноградным вином. Очень изрядно попробовала. Понравилось еще больше. А как попробовала из бочки с простым вином,— так и замертво возле бочек свалилась, совсем пьяная. Иван подошел к ней, обвязал ее вокруг шелком, обернул крученой проволокой, потом медной, наконец простой проволокой. Еще раз завернул в саван и положил ее в коляску.

Тогда тронулись, конечно, в обратный путь. Ехали-ехали, дочь солнца начинает понемногу трезветь, повернулась — проволока порвалась. Стала тут молить-просить дочь солнца Ивана:

— Развяжи меня! Если сумел меня поймать, я теперь сама от тебя не убегу!..

Молчит Иван, едет дальше. Дернулась дочь солнца — медные проволоки порвались. Вторые, значит. Третий раз дернулась дочь солнца,— впились ей крученые проволоки в тело, и она померла.

Подъехал Иван к дому крестной.

— Привез дочь солнца? — спрашивает крестная.

— Привезти-то — привез, да она померла в дороге.

— Хорошо, что привез, а это — не бойся, оживет!

Развязали они проволоки на ней, крестная чем-то ее помазала, дочь солнца и ожила. Ну, поели-попили, отправился Иван со своим добром к царю. Приехали. Иван ведет дочь солнца к царю. Говорит царь своей прислуге:

— Хороший работник нам попался!

— Хороший,— отвечает прислуга.

Поотдохнули. Переночевали. Попили-поели, конечно. На другой день говорит царь дочери солнца:

— Пойдем венчаться!..

— Не могу я,— отвечает ему дочь солнца,— венчаться не в своей одежде... Достану свое подвенечное платье — тогда и обвенчаемся.

— Кто ж тебе его достанет? — спрашивает царь.

— Да пусть тот работник и съездит, который меня похитил. Он сумеет привезти платье.

Опять зовет Ивана царь.

— А вот поезжай и привези подвенечное платье дочери солнца!

Загрустил Иван: что, мол, я один сделаю, если не поможет крестная?

И едет к крестной.

— Что опять приключилось? — спрашивает крестная.

— Опять царь послал! За подвенечным платьем для дочери солнца. А где я его возьму?

— Достанешь! — говорит крестная. — Бери хорошую лошадь да вот этот узелок. В узелке есть запах. Приедешь к морю, открой узелок и понюхай,— тогда перед тобой вдруг откроется узенькая тропинка. И вот тебе еще один узелок. В нем три вещички. Как по той тропинке пойдешь,— дойдешь до ограды, возле нее встретишь ты трех львов. Разверни узелок и брось львам эти три вещички.

Иван поступил так, как посоветовала ему крестная. Взял узелки и лошадь и отправился к морю. У моря один узелок развернул и понюхал,— перед ним сразу открылась узенькая тропинка. Поехал он по той тропинке до самой ограды, и верно — встретил трех львов. Бросились львы на Ивана, а он развернул второй узелок и бросил то, что в нем было. Сразу успокоились львы. Тогда заходит Иван во дворец дочери солнца, берет ее подвенечное платье и направляется в обратный путь. Передал царю подвенечное платье.

— Ну, что ж? — обращается царь к дочери солнца.— Завтра мы с тобою и повенчаемся!

— Нет! — отвечает дочь солнца.— Пока моего коня не приведут — не буду я венчаться.

— Кто ж тебе его приведет? — изумился царь.

— А тот же самый конюх,—отвечает дочь солнца.

Вызвал к себе царь Ивана, приказывает ему ехать за собственным дочери солнца конем. В третий раз опечалился Иван и в третий раз подумал, что если не поможет ему крестная еще раз — пропадать ему! Поехал он к ней, жалуется, что царь его за конем дочери солнца послал.

— Достанешь,— успокаивает его крестная.— Бери вот эту лошадь и поезжай на ней к морю. Доедешь до самого моря — пусти ее. Она будет лезть в море, а ты не задерживай, пусть идет. И затем жди трое суток, три часа, три минуты и три секунды. Пройдет это время, и если никто не покажется из моря — сам полезай в воду.

Иван так и поступил. Приехал к морю, выпустил лошадь, и она прямо в воду бросилась; трое суток прошло, три часа прошли, три минуты прошли, три секунды прошли,— никто не вылезает из моря на берег. Иван сам полез в воду. Только он влез — заволновалось море, выходит из него Иванова лошадь и тащит на себе еще двух лошадей. Лошадь Ивана сразу же упала на берег. Тогда взял Иван тридцатипудовую дубину, да как огреет тех лошадей промеж ушей. Упали они обе, говорят:

— Теперь уж мы твои!

И отправился со всеми тремя лошадьми к крестной. Приехал, позавтракали, конечно, отдал Иван крестной ее лошадь, а сам на двух конях отправился к царю.

Очень обрадовался царь. Говорит дочери солнца:

— Ну, теперь-то уж мы повенчаемся!..

А дочь солнца зовет к себе Ивана и говорит:

— Вот тебе мой меч. Неси его и спрячь под церковной папертью. Когда подъедет свадебный поезд — меч выскочит, зачнет бушевать...

Иван так и сделал.

Наутро направляется свадьба в церковь. Только-только подъехал свадебный поезд к церкви — как выскочит тот меч, да сразу голову царю и отрубил.

Заволновался народ:

— Кого ж в женихи поставить?

И сказали все:

— Ивана! Он был шафером...

А дочери солнца очень это пришлось по сердцу. И обвенчался Иван с дочерью солнца. И даже вместо царя остался. Попировали, конечно, и теперь еще живут очень хорошо.

ПЕРЯ

Жили-были два брата, один служил в солдатах, а другой — Перя [22] охотничал, белок ловил. Бродит Перя целый день по лесу, добредет до своего чома [23], наломает пихтовых елок под себя, костер-надью [24] разведет, да и спит себе возле избушки. Обладал тот Перя неимоверной силой.

Как-то однажды он сказал своей жене:

— Чегой-то у меня сегодня глаз чешется?

Посмотрела та под веко мужа и вытащила оттуда пару еловых иголок.

Однажды в столицу пришел очень сильный богатырь и начал людей мучить, колесом их убивать [25]. Никто не осмеливался померяться с тем богатырем силой, любого смельчака убивал он на месте. Испугавшиеся жители стали посылать людей по очереди биться с тем богатырем, а когда очередь дошла до брата Пери, который служил в солдатах, он сказал:

— Есть у меня дома брат Перя, силы он непомерной. Не вызвать ли нам его сюда?

Послали солдата на родину, чтоб привез он брата-богатыря.

Однажды возвратился Перя в свой чом с охоты, и увидел: висят на стене лук со стрелами, и выругался:

— Кто же это, чортова мать, забрался в мой чом?

А брат ему и отвечает:

— Это я пришел. К нам в столицу богатырь заявился, и весь народ от него погибает. Давит тот богатырь людей колесом.

— Иди в столицу назад,— говорит брату Перя,— я приду на помощь.

— Мне,— отвечает брат,— недели две до столицы ехать. А тебе сколько?

— А мне и двух дней хватит. Приду и никому не покажусь. Если понадоблюсь — ищите меня в бане.

Подоспел Перя в столицу как раз к моменту схватки с тем богатырем. Замешался в толпу, видит: катится богатырь в колесе, людей давит. Подъехал к Пере, ударил его в поясницу, сорвал с Пери кожаный ремень.

— Ах ты, чортова мать,— рассердился Перя,— да я тебя в грязь превращу!

Да как схватит того богатыря вместе с колесом, да как шваркнет его об землю,— на земле только кровяная полоска от того богатыря и осталась. Испугался Перя, побежал прочь, кричит:

— Человека убил! Человека убил!

Потом позвали, однако, Перю к царю, угощают его, в мягкую постель спать укладывают. Но только не нравится Пере такое житье, скучает он по родной парме, по речке своей Лупье вздыхает:

— Надья-матушка! Березовое изголовье! Пихтовая постель! Вот оно, красное солнышко моей жизни!

— Проси, чего хочешь! — говорит Пере царь.

— Ничего мне не надо! Только, чтоб свободно мне было лесовать в родных моих лесах.

Подарил царь Пере во владение Лупью-парму да еще шелковую сеть — куниц ловить. Вернулся Перя в родные

места, принес еще с собою четыре дубовых полоза. Хорошо ему охотилось в Лупье-парме, верст пятьдесят до паужина[26] обойдет, до большого «йоля» (лесной речки).

Вот однажды расставил Перя шелковые сети на куниц, да и попал на ту тропу, на которой охотился сам Вöрса[27]. Пришел к нему Вöрса, заспорил с Перей, а Перя ему и говорит:

— Ты в мои угодья не суйся!

А Вöрса отвечает, что надо, мол, потягаться на палке[28]: кто кого перетянет — того и владения. Отправился он искать подходящую палку. А Перя перевязал ту палку крепким ремнем, концы его обернул вокруг дерева, сел и держит палку за концы в руке. Напрягся Вöрса изо всей силы, даже треск по дереву пошел. Удивился тому треску Вöрса, спрашивает:

— Что это трещит?

— А это у тебя хребет трещит[29],— отвечает Перя.

— Если так,— испугался Вöрса,— давай лучше перестанем тягаться!

Перестали. Вöрса и спрашивает:

— Как ты спишь?

— А ты как спишь?— спрашивает Перя.

— Я храплю так, что деревья гнутся,— говорит Вöрса.

— А я сплю, как кряж! —отвечает Перя.

— А какого удара ты больше боишься? — опять спрашивает Вöрса.— Какой удар для тебя смертелен: удар копья или удар топора?

— Для меня смертелен удар копья с серебряным наконечником.

Улеглись они возле костра-надьи: Вöрса по одну сторону, Перя — по другую. А как только улеглись, Перя потихоньку, вместо себя, положил березовый кряж, укрыл его сверху, а сам забрал свои стрелы и лук и спрятался. Встал ночью Вöрса, накалил на костре свое копье, ударил в Перю — насквозь пронзил березовый кряж.

— Ух и крепкий же был этот Перя! — удивился Вöрса. И ударил по кряжу еще два раза.

Тогда из своей засады послал Перя в Вöрсу первую стрелу. Бросился бежать Вöрса, добежал до самого своего жилища, и до самого жилища преследовал его Перя. Настиг, а Вöрса уже мертвый лежит на пороге.

Вошел Перя в жилище Вöрсы, всех его домочадцев перебил, одна только девушка уж очень просила Перю не убивать ее:

— Я,— говорит,— крещеная! Я была похищена Вöрсой из дому.

Не убил ее Перя, зажил с нею, как с женой.

Жили они несколько недель, а может быть, и месяц. Вот новая жена вдруг предупреждает Перю:

— Ты без стука, дескать, никогда ко мне в баньку не заходи!

Однажды Перя подкрался к баньке, да без всякого стука и заглянул в нее. Видит: сняла его жена кожу, вместе с волосами, со своей головы, и расчесывает волосы.

Убил свою жену Перя тут же на месте.

ПИПИРИСТИ-СОКОЛ

Жили-были муж с женой, у которых было три дочери. Однажды отец собрался на ярмарку, спрашивает дочерей, чего им купить.

— Мне купи английский сарафан,— отвечает старшая дочь.

— Мне синий сарафан,— говорит средняя.

— А мне нужен Пипиристи-сокол,— отвечает младшая.

Поехал отец на ярмарку, купил старшей дочери английский сарафан, второй дочери — синий сарафан, а для младшей дочери, как ни искал Пипиристи-сокола — не нашел, не купил. Вернулся он, дал одной дочери английский са-

рафан, второй — синий сарафан, третьей — ничего не привез.

Собрался отец как-то второй раз на ярмарку: старшая дочь захотела гарусный сарафан, вторая — серый, а третья — опять Пипиристи-сокола. Привез он с ярмарки старшей дочери гарусный сарафан, средней — серый, а младшей дочери — опять ничего.

Наутро младшая дочь насушила сухарей, сложила их в котомку и пошла к просвирне.

— Матушка-просвирня, не знаешь ли ты Пипиристи-сокола?

— Знаю-то знаю, но тебе его не поймать.

— Научи, матушка-просвирня!

— Пойдешь ты и пойдешь,— учит просвирня,— и придешь на зеленый луг, и набросай на том лугу своих сухарей. Кто на них набросится, того и лови, а если за тобой будут гнаться, брось еще сухарей за собой...

Девушка так и сделала, как посоветовала ей просвирня: набросала сухарей, поймала Пипиристи-сокола, идет домой — просится к просвирне переночевать. Переночевала, а назавтра идет в церковь и надевает на себя одежду Пипиристи-сокола. Пришла в церковь, встала на самую середину, и все на нее глаза пялят: даже поп с дьячком. Не дождавшись конца службы, вышла она из церкви, да прямо домой; сняла с себя одежды Пипиристи-сокола, села и сидит. А сестры приходят из церкви и рассказывают:

— Все-то ты сидишь дома, даже в церковь никогда не сходишь! А посмотрела бы, в какой светлой одежде приходила сегодня одна девушка. Обязательно завтра сходи посмотреть!

Зазвонили в церкви назавтра опять, и опять пошли все в церковь — и отец, и мать, и сестры. Младшая дочь снова оделась в одежды Пипиристи-сокола и вышла на самую середину церкви. Дьячок с попом все глаза на нее

просмотрели — до того светла! Но, конца службы не дождавшись, уходит она опять домой, а одна из сестер за нею следом: посмотреть, куда светлая девушка пойдет. Увидела сестра, что идет светлая девушка прямо к их дому, говорит матери:

— К нам светлая девушка пошла!

А домой приходят, встречает их младшая сестра,— она уже сняла одежду, положила ее за печкой,— ее и спрашивают:

— К нам никто не приходил?

— Нет, никто не приходил...

Назавтра, когда отправились все в церковь, полезла младшая дочь за одеждой, а одежды-то и нет! Расплакалась она. Уж так плакала, так плакала... Побежала к просвирне, рассказывает ей о своем горе.

— Не сумела сохранить — второй раз не поймаешь! Впрочем, возьми сухарей — сходи на старое место.

Она так и сделала. Опять поймала Пипиристи-сокола, и тут за ней кто-то начал гнаться. Она бросает сухари за собой, а за ней все гонятся и гонятся. Все вышли сухари, что тут делать? А уж на ней и одежду всю разорвали и Пипиристи-сокола отняли. В горе отправилась она к просвирне, поговорили они вместе и поплакали. Домой пришла девушка, опять поплакала. И очень печально жила она дома. А вскоре еще и мать померла, запечатали ее в гроб, понесли в церковь. И опять та девушка очень плакала. И теперь еще живет — все печальная...

БУЙНЫР

Жили-были муж с женой. Однажды пошел муж охотиться, а жена собирать ягоды — и заблудилась. В лесу подошел к ней медведь и увел в свою берлогу. Жила она с медведем в берлоге три года, и родился у нее сын по

имени Михайло. Долго ли, коротко — вырос Михайло, вылез из берлоги и убежал.

Идет он, а по дороге — гора. Пнул он ту гору ногой, отлетела она в сторону, и вышел из-под горы человек.

— Меня,— говорит, зовут Горынем, буду тебе за младшего брата.

Идут они вместе с Горынем около перевоза, а из-под берега выходит навстречу человек и говорит Михайле:

— Меня зовут Усынем, буду тебе за младшего брата.

Пошли они дальше втроем и пришли наконец к трехэтажному дому. Зашли в тот дом, а в нем никого нет. Только в хлеву три быка стоят. Одного из тех быков они зарезали, зажарили и съели. После обеда Михайло с Горынем пошли в лес, а домовничать оставили Усыня.

Спустя некоторое время после того, как они ушли, вылезает вдруг из-под голбца старик с двухаршинной бородой, а сам ростом в аршин. Звали того старика Буйныр. Кинулся он на Усыня, бил его, бил, топтал его, топтал, затоптал его в щель в полу. А сам перевернулся кубарем, превратился в охапку сена и упал в дыру голбца.

Возвратились домой Михайло с Горынем, просят обедать.

— Я, братушки,— отвечает им Усынь,— сильно угорел и ничего вам не сварил.

Сварили они обед себе сами и поели.

На другой день отправляются на охоту Михайло с Усынем, а домовничать оставляют Горыня. Как только они ушли, опять выскочил из-под голбца злой старик Буйныр.

— Второго,— говорит,— быка моего слопали? Давай состязаться, кто сильнее?

Да как кинется на Горыня, бил его, бил, топтал его, топтал, втоптал в щель в полу, а сам превратился в стог сена и пропал в дыре голбца.

Вернулись братья домой обедать. Говорит им Горынь:

— Не мог я, братушки, вам обеда сварить — угорел сильно.

Сварили они обед сами и поели.

На третий день отправляются на охоту Горынь с Усынем, а домовничать остался Михайло. Братья между собой и подсмеиваются:

— Этого Буйныр непременно убьет!

Домовничает себе Михайло потихоньку. Вдруг выходит из-под голбца старичок с аршин ростом, а борода в два аршина, и говорит Михайле:

— Третьего моего быка сожрали? Сегодня я самого тебя съем! А сначала давай померяемся, кто сильнее?

Схватились они биться, бились-бились, никто друг дружку осилить не может. А во время драки уронил Буйныр ложку со стола и говорит Михайле:

— Подними ложку-то!

Нагнулся Михайло ложку поднимать, а Буйныр вскочил ему на спину и принялся колотить. Михайло как развернется, как стряхнет Буйныра со спины — не удержался Буйныр, свалился к самой дыре голбца и чуть было в ней не скрылся, да Михайло успел схватить его за бороду. Потащил его в сарай, сначала избил как следует, а потом привязал к бороде веревку и повесил за бороду на стропила.

Возвратились братья с охоты, спрашивают:

— Не угорел, браток?

— Нет, братушки, я угарную-то голо́вню вытащил. Пойдемте, покажу.

Пришли они в сарай, а на стропилах-то только буйныровa борода висит, сам он убежал.

— Ну, что ж, братушки,— говорит Михайло,— придется нам из кожи ремень кроить.

Выкроили они из кожи ремень, и спустился на том ремне Михайло в голбец искать Буйныра. Спустился Михайло в голбец, видит: зеленый луг, и пошел по тому зе-

леному лугу, пока не пришел, наконец, к избушке. Заходит в нее, а там старик со старухой сидят, обедают, оба седые и слепые. Подошел к ним Михайло, взял ложку, тоже принялся хлебать из чашки. Ели-ели старики — не наелись.

Вот и говорят они между собой:

— Всегда этой чашки нам хватало, а сегодня не хватило. Кто-то крещеный с нами обедает. Если старый человек — пусть заместо отца нам будет, если молодой человек — пусть будет нам заместо сына.

— Я молодой,— отвечает Михайло.— Я иду искать злого Буйныра.

— Этот Буйныр,— отвечают ему старики,— нас сильно обижает. Сорок быков у нас сожрал. Оставайся у нас вместо сына и стереги наш скот...

Остался Михайло у стариков и принялся пасти их скот. Пошел он стеречь коров, и в первый же день превратился Буйныр в медведя и подкрался к коровам нового пастуха. А старики на случай встречи Михайла с Буйныром припасли осиное гнездо. Выпустил Михайло ос на медведя, накинулись осы на него и принялись жалить. А Михайло подкрался к медведю, ухватил его за уши, ударил о землю и убил на месте. Потом вернулся он, видит: три сестры, три красавицы под замком сидят. Освободил он их из-под замка, повел с собой к дыре голбца, через которую спускался, тряхнул за ремень, и братья подняли их всех четверых.

Три брата женились на тех трех сестрах и теперь живут-поживают.

МОХНАТОУХИЙ

Мохнатоухий [30] обычно называет охотников «голоушниками». И любит он приходить к «голоушникам», померяться с ними силой на палках [31]. Он хотел бы и сам про себя узнать: силен он или нет?

Однажды один «голоушник», идя на лесованье, захватил с собой очень крепкую веревку. Один конец той веревки привязал он к здоровенному пню, а к другому ее концу привязал крепкую палку.

И вот приходит к тому «голоушнику» Мохнатоухий. Сели за палки. Тянули-тянули, напрягает Мохнатоухий все свои силы, никак не может перетянуть «голоушника». Удивляется Мохнатоухий, каким сильным стал «голоушник».

Но не всегда бывает Мохнатоухий таким добродушным, придурковатым стариком.

Один охотник выстроил себе однажды баньку в лесу для лесованья. Жил он в лесу, ловил тетерок и белок. И не знал тот охотник, что баньку-то свою выстроил он как раз на дороге, по которой охотится житель лесов — Мохнатоухий.

И чтобы выгнать того охотника из леса, Мохнатоухий всячески начал ему досаждать. Долго не догадывался охотник, кто ворует у него дичь, думал на соседей, но, наконец, понял, в чем дело.

Была у того охотника четвероглазая собака. А четвероглазые собаки всегда могут видеть Мохнатоухого. Подойдет он к баньке — у собаки шерсть дыбом, начинает сердито лаять. И ждет охотник, что будет дальше? Мохнатоухий толкнул дымовую задвижку, она с треском свалилась на пол.

— Ага! — догадался охотник.— Это Мохнатоухий Вöрса забавляется.

Встал охотник и выбежал из баньки. Он знал, как нужно спугнуть Мохнатоухого: повернуться к нему задом, заложить между ног ружье и выстрелить в Мохнатоухого. Зарядил охотник ружье и выстрелил прямо в Мохнатоухого.

— Сумел ты себя отстоять! — сказал после этого Мохнатоухий.

И никогда уже больше не приходил к баньке того охотника и даже свою тропу для лесования покинул.

КАЖДОЙ ДЕВУШКЕ СВОЕ

Жили-были муж с женой, и была у них дочь. Вот жена померла, отец женился на другой и привел в дом эту тетку. Начала та тетка кормить девушку помоями, а родную свою дочь холить.

Однажды посылает тетка девушку на реку выполоскать моток ниток. Стала она полоскать, а моток-то и потонул. Она и коромыслом доставала и так старалась зацепить,— утонул моток. Пришла домой, рассказывает тетке.

— Я,— отвечает ей тетка,— душу из тебя вышибу! Где хочешь доставай моток!

Пришла девушка опять к реке, нырнула в воду. Нырнула и очутилась на очень красивой улице. Пошла по той улице. Идет-идет, приходит к ручью из меда,— тот мед она даже пальцем не тронула. Дальше пошла. Идет-идет, приходит к ручью из сметаны,— ту сметану и пальцем не тронула. Приходит, наконец, к маленькой избушке, которая на ветру вертится.

— Избушка, избушка, остановись! — попросила девушка.

Избушка остановилась. Девушка ступила сначала на иголку, потом на крыльцо и взошла в избушку. А в ней водяная тетка сидит.

— Тетка, тетка,— говорит девушка,— у меня моток ниток потонул!

Отвечает ей тетка:

— Возьми моих девятерых щенят и выпарь их в бане хорошенько,— найдешь тогда свой моток ниток.

Взяла девушка тех щенят, отлично вымыла их на мягком жару в бане и поднялась с ними назад в избу. Тогда в награду дала ей водяная тетка маленький ящик.

— Неси,— говорит,— этот ящик к себе домой, открой его на зеленом лужку и найдешь свой моток ниток.

Пошла девушка домой, опять по красивой улице, мимо

ручья из меду и ручья из сметаны, остановилась напротив своего дома, вынырнула к нему и, найдя зеленый лужок, открыла ящик. Из ящика вышла очень большая и красивая изба, а когда вошла в нее девушка — отыскала она и свой моток ниток и много еще всякого добра.

Посмотрела на все это тетка и гонит на следующий день родную свою дочь полоскать моток ниток. Та пришла к реке, нарочно уронила моток и пошла жаловаться матери.

— А ты, дорогая моя дочка,— говорит ей мать,— нырни за тем мотком!

Девушка воротилась к рече и нырнула. Нырнула и попала на красивую улицу. Пошла по той улице. Попался ей ручей из меда,— отведала того меда; затем ручей из сметаны,— и сметаны попробовала. Пришла, наконец, к избушке, хотела войти, да не хочется на иглу наступать. Думала-думала, кое-как вошла наконец. Вошла и говорит водяной тетке:

— У меня моток ниток утонул!

— Выпаришь в бане девятерых моих щенят,— отвечает ей тетка,— найдешь свой моток ниток.

Положила девушка тех щенят в берестяной коробок, понесла, потряхивая, в баню, в бане всех девятерых веником отхлестала, вымыла кое-как. Возвращается к тетке, а та дает ей большой ящик, велит нести к себе домой и там открыть. Пошла девушка назад по красивой улице, опять сметаны отведала и меду наелась.

А дома открыла ящик. Вырвался из него огонь и всю избу спалил.

НАКАЗАННАЯ НАСМЕШКА

Однажды осенью лесовали пять мужиков. Жили они все в одной охотничьей избушке. У четырех охотников все время лесованья улов был хорошим, а пятому, коновалу,

добыча попадалась редко: то белок пару подстрелит, то вовсе ничего не добудет. Остальные охотники смеялись над ним и сторонились его.

Вечером как-то собрались все охотники в избушке и принялись подтрунивать над неудачливым охотником.

— Много ли наловил, товарищ?

— Ты, видать, жалеешь белок да рябчиков! Боишься, чтоб не убыло их, что ли?

Так подсмеивались они над ним целый вечер. Наконец, охотник рассвирепел и сказал:

— Зубоскальте, зубоскальте! Не пришлось бы вам каяться! А ваших слов я вам не забуду!

Он был коновалом и немножко знахарем.

На другой день пошли четыре охотника на охоту, а пятый — знахарь, какими считали у коми всех коновалов — остался на постели; он еще спал. Охотились-охотились те четыре охотника и попали под дождь. Укрылись под деревьями, но дождь не переставал, лил все сильнее. Скоро вода стала охотникам по колено. Залезли они на дерево, а вода все прибывает. Они еще выше, и вода за ними. До самой верхушки залезли,— вода вот-вот подойдет. Стали охотники захлебываться, а выше и лезть некуда. Хоть пропадай!

Один из них и говорит:

— Это коновал все настроил за то, что мы подсмеялись над ним вчера!

И начали все кричать:

— Друг, не дай погибнуть! Спаси наши души! Возьми, если хочешь, хоть всю нашу добычу!

Стала спадать вода. А вскоре и совсем спала, будто и не было ее никогда. Слезли те четверо, смотрят: оказывается, сидели они возле самой их охотничьей избушки.

Входят в избушку — коновал сидит, беличью шкурку сдирает.

— Говорил я вам,— обращается он к ним,— что каяться за свои слова будете! Вот до чего можно дойти!

Долго болтать четыре друга не стали,— отдали свою добычу коновалу, но тот не взял, отказался:

— Не нужна мне,— говорит,— ваша добыча. У меня своей много. А впредь не хвастайтесь!..

МАКАР И СЕМЕРО БРАТЬЕВ

Жили-были старик со старухой, и было у них семеро сыновей, а восьмой — дурачок, несмысленыш Макар, тот самый Макар, на которого, как известно, все шишки валятся. Братья от Макара давно отделились, завели свои семьи, а старых родителей бросили на попечение Макара. Старшие-то братья — те богатые, денежки у них всегда водились, а у Макара только и было, что полуразвалившаяся избенка, еще дедушкой его поставленная, да лошадь на трех ногах — Карко, ровесник Макарова отца. А больше и нет ничего. И самому Макару есть нечего, да и стариков — отца с матерью — кормить нечем.

Наступила весна. Братья Макара запрягли своих откормленных лошадей и поехали ячмень сеять. Поехал и Макар на своем Карко. Ехали-ехали, ехали-ехали, наконец приехали: ведь скоро только сказка сказывается, а дело не скоро делается. Посмотрел Макар на поля своих братьев, а у них уже давно запахано, засеяно — гляди, рожь скоро жать нужно, а он только-только пахать начинает! Пахали-пахали Макар со старым Карко. Братья тем временем уже всю рожь убрали и на гумно свезли, а Макар все еще пашет. Что делать?.. Макар хоть и не ленив, да лошадь-то у него, как говорится, «не таё»... Ну, наконец, однако, и он кончил пахать,— ан, глядь, семян не хватает. Решил Макар с горя подзакусить. Достал из-за пазухи ломоть хлеба, сидит, ест, а крошки хлебные птич-

кам бросает. Шел мимо поп. Увидел, что Макар крошки кидает, и спрашивает:

— Что ты, чадо, делаешь?

— Хлеб сею.

— Как хлеб сеешь? Печеный хлеб не сеют!

А Макар в ответ попу:

— Посеешь зерном,— зерном и получишь урожай, а посеешь печеным хлебом,— печеным же хлебом и заколосится. Неспроста ведь сказано: «что посеешь, то и пожнешь».

Попу и чудно кажется и завидно: известное дело, у попов глаза завидущие, руки загребущие. А тут еще Макар подзадоривает:

— Если печеным хлебом посеешь, то не нужно ни в скирды класть, ни молотить, ни молоть. Уродится тебе хлеб караваями, знай лишь, тащи его на стол, режь да кушай на здоровье.

Невтерпеж стало попу от зависти, и говорит он Макару:

— Поди, чадо, сбегай быстренько к матушке-попадье да проси у нее от моего имени двух лошадей, две сохи, две бороны да побольше печеного хлеба: будем мы с тобой мой паровой клин засевать печеным хлебом.

— Да я бы со всем моим удовольствием, батюшка,— отвечает Макар,— только ведь мне, бедному мужику, матушка-попадья не доверит такого богатства. Дай-ка, батюшка, мы с тобой поменяемся одеждой...

Дал Макар попу свою одежду — заплата на заплате, сам оделся в поповский подрясник и отправился к попадье. Говорит ей:

— Батюшка в городе купил трехэтажный дом, денег не хватило. Просил прислать три тысячи рублей.

— Дать я тебе дам,— отвечает попадья,— но у меня денег только две тысячи семьсот рублей. Ты обожди, сейчас сбегаю, возьму взаймы у дьякона и псаломщика.

— Ладно, могу!

Взял Макар у попадьи три тысячи да и отправился домой.

Поп ждал-ждал Макара,— уж и вечер наступил, а Макара все нет и нет.

«Что же такое случилось с этим Макаром? Дай,— думает,— сам схожу домой».

Пришел, спрашивает у попадьи:

— Макар был?

— Был,— отвечает та.— Ты велел ему три тысячи дать,— ну, я отдала.

Понял поп, что крепко подкузьмил его Макар, и бегом побежал к Макарову полю.

«Меня,— думает,— не перегонит, куда ему! Придет на поле за лошадью, тут-то я его, голубчика, и сцапаю!»

Тем временем Макар оделся в женскую одежду, пошел на свое поле и стал боронить. Прибежал туда поп, спрашивает:

— Ты кто такая? Зачем боронишь чужое поле? Ведь оно Макарово!

Говорит Макар попу в ответ бабьим голосом:

— А я сестра Макара. Он куда-то ушел да и пропал. Ну, я и пришла кончать работу.

— Твой брат, Макар,— говорит поп,— обманом унес у меня три тысячи рублей денег. Тебе теперь за него отвечать придется! Иди-ка уж лучше ко мне батрачкой, а не пойдешь — в суд подам!

Пошел Макар к попу батрачкой. А у того попа были три дочери, все три — невесты. Заставил поп свою новую батрачку спать в одной горнице с дочерьми, охранять их от ночного «греха».

Живет Макар у попа, по должности управляется да с поповыми дочками возится. А те и рады-радешеньки: скука-то у батюшки непролазная была! Скоро все три и забеременели.

Вот раз поп говорит попадье:

— А не мужчина ли у нас батрачкой?

— А ты вели натопить баню да пошли его париться с дочками-то. Если мужчина,— с девушками ни за что не пойдет.

Натопили баню. Посылает поп в баню со своими дочками батрачку. Пошел Макар в баню. Сначала старшую попарил, затем среднюю, наконец и младшую. Спрашивает поп дочерей:

— Не мужчина ли наша батрачка-то?

А дочери заодно с Макаром:

— Что вы, батюшка, какой же мужчина пойдет батрачкой!

Не верится попу, еще посылает батрачку в баню:

— Иди,— говорит,— попарь заодно и матушку.

— Угорела уж очень я сегодня, не смогу матушку-то!..

Однако, когда подошло время, понял и поп, хоть и глуповат он был, что с дочками-то неладно: все трое на сносях. Такой товар требуется скорее сбыть с рук. Отправился поп в город женихов искать и привез троих купцов. А те невест увидели да и говорят попу:

— Такой товар нам, батюшка, не с руки, а вот если батрачку отпустишь,— с нашим удовольствием-с, согласны-с взять замуж-с.

— Эту батрачку мне отпускать жалко: она три тысячи рублей стоит, но вам уж отдам ее; только вы про моих дочерей дурных слухов не разносите!

Выдал поп батрачку за одного купца. Увез тот ее с собой в город. Отпировали там свадьбу, молодых уложили на брачную постель, и комнату кругом заперли. Таков уж у нас обычай: молодым первую ночь спать под замком. Вот заперли их, а молодая и говорит супругу:

— Мне ведь по своей нужде сходить надо, а кругом-то заперто. Спусти-ка ты меня на веревке через окно!

Спустил купец свою молодую супругу через окно и

ждет, когда она вернется. А Макар тем временем вывел у купца из хлева барана с большущими рогами, привязал его к веревке и кричит:

— Подымай!

Поднял купец, смотрит, а вместо молодой-то — баран рогатый. Закричал истошным голосом, напугал и гостей пирующих. Те бегом прибежали в спальню, спрашивают:

— Что случилось?

А молодой наш показывает на барана и испуганным голосом рассказывает, как молодая в барана обернулась. Думали-думали, гадали-гадали: как быть при такой небывалой конфузии? Наконец порешили: барана убить и тайком запрятать под навозной кучей.

А тем временем Макар оделся в обычную свою мужицкую одежду и пришел к попу:

— Ну, батюшка, пришел я узнать, куда ты девал мою сестру. Если скажешь,— верну твои три тысячи рублей, а не скажешь,— отдам под суд и тебя же засужу!

Поп рассказал, как выдал Макарову сестру замуж за купца. Пошли поп с Макаром новоявленную купчиху навестить. Пришли. Макар и спрашивает у купца:

— Где моя сестра?

Купец сперва долго путался, но затем пришлось ему всю правду рассказать о том, как его молодую супругу злые люди в барана превратили и что из этого вышло. Велел Макар показать ему труп убитой сестры и говорит попу и купцу:

— Ну, уж коли такое дело наделали, то я молчать о нем не могу, объявлю по начальству,— пусть вас обоих засудят на каторгу.

Купец ему:

— Молчи, Макарушка, я тебе тысячу рублей золотом дам!

А поп:

— А я, чадо, прощаю тебе три тысячи и еще дам ты-

сячу; только не позорь ты мой сан, не разглашай этого дела, не доводи до суда!

Получил Макар деньги и отправился на свое поле: ведь лошадь-то все еще там его дожидается. Карко-бедняга, не пивши, не евши, на старости лет, совсем ослабел, уже и на ногах не держится. Зарезал Макар свою коняту, шкуру отнес на базар и продал за полтину. Затем пришел к богатым братьям и говорит:

— Дайте мне, братушки, четверик ваш,— нужно деньги вымерить: зарезал я Карко своего, а кожу продал, и такую дали мне пропасть денег, что никак не сосчитаешь. Надо хоть прикинуть, сколько мерок будет.

Пошли богатые братья к Макару проверить его слова. Пришли и глаза выпучили: откуда у Макара столько денег вдруг появилось? В тот же день и час все семеро братьев зарезали своих лошадей и жеребят и понесли на базар продавать шкуры. Стали на базаре и ждут покупателей.

— Почем шкура? — спрашивают покупатели.

— По тысяче рублей,— отвечают братья.

А люди стоят, хохочут и удивляются: откуда явились эти семеро сумасшедших, что по тысяче рублей за шкуру запрашивают, когда ей красная цена — трояк? Быть может, месяц целый предлагали братья шкуры своих лошадей по тысяче рублей, но больше трех рублей никто им не давал.

Догадались братья, что Макар их одурачил; пришли опять к Макару: убить его. Сунули Макара в мешок и отправились на реку: собирались спустить его в прорубь. А утро-то было раннее, ночь холодная. Прорубь льдом покрылась, братья же, как на грех, не догадались взять с собой ни топора, ни пешни. Что делать? Решили вернуться домой за топорами и пешнями. Спорили-спорили, кому итти, и пошли, в конце концов, все, а Макара на льду бросили. Стал он кричать:

— Ставят меня в исправники, а я не хочу! Силком везут в город! Спасите!

В это время ехал на тройке борзых лошадей урядник. Услыхал крик да и говорит Макару:

— Я желаю быть исправником! Выходи из мешка, я туда полезу.

Макар не заставил себя ждать повторного распоряжения — вылез из мешка. Полез туда урядник, мешок Макар завязал накрепко, а сам сел в урядникову тройку и был таков. Пришли братья, прорубили лед и в прорубь бросили мешок с урядником.

Вернулись все семеро домой, рады-радехоньки, что избавились от обманщика. А Макар уж тут как тут: пронесся на тройке мимо их изб и остановился у своего крыльца. Удивились братья, как это так жив Макар, когда они сами только что его своими руками в прорубь кинули? Пошли узнавать. Макар и говорит:

— Когда вы меня в мешке опустили под лед, оказался я на том свете. А там, в царствии небесном, праведники живут — добрые люди: давали мне целый табун лошадей, лишь бы домой я вернулся. А что мне делать с целым табуном? Запряг я из табуна тройку, и вот, как видите, вернулся жив и невредим.

Удивляются братья щедрости праведников, а главное, завидно им, что Макару даром досталась тройка добрых коней. Говорят ему:

— Макар, братец, завяжи нас в мешок, сделай на реке прорубь — там, откуда всего ближе до царствия небесного: уж пригоним оттуда табун-то твой целиком.

Завязал Макар мешки с жадными братьями, на дровнях отвез на реку и побросал в прорубь. Ждали-ждали жены богатых братьев возвращения своих мужей,— не идут мужья, нет и лошадей. Догадались, что Макар опять обманул их. Решили поймать и убить его. Связали беднягу и готовятся убить, да спохватились: ни ножа, ни то-

пора нет с ними. Всей артелью побежали домой за оружием, чтобы убить Макара. Остался Макар в лесу один. Тем временем ехал мимо богатый купец, человек вдовый. Спрашивает он Макара:

— Почему это тебя привязали сюда?

— Да, видишь ли,— говорит Макар,— заставляют меня жениться на губернаторовой дочери. Так вот, чтобы не сбежал от невесты, привязали меня к дереву, а сами за невестой отправились. А я не хочу на ней жениться, ну ее совсем!

— Ну, и дурачок же ты, братец! Не хочешь, видно, счастья своего! Ведь дочка-то губернаторская и богатая, и знатная!.. Хочешь, я на ней женюсь вместо тебя?

— Ну, что ж! Если хочешь,— займи мое место!

Привязал Макар вместо себя лицом к дереву, чтобы не догадались о подмене, вдового купца, переодетого в Макарову одежду, а сам по другой дороге уехал домой. Между тем воротились в лес и жены богатых братьев. Не догадались о подмене, убили вдового купца-богатея и тут же, под корнями дерева, спрятали его труп. Приехали к себе и видят: жив и здоров Макар. Поняли тогда — неистребим он! Просят прощения, а Макар им в ответ:

— Прощу,— говорит,— если каждая из вас отделит мне половину своего имущества.

Жалко, но пришлось отдать Макару половину: виноваты ведь...

Так и зажил Макар наславу, да и старых родителей своих до самой смерти хорошо содержал.

СВАДЕБНЫЙ ПЛАЧ

ОБРАЩЕНИЕ К ОТЦУ[32]

Ен[33] великий, Ен могучий,
В этот день, когда проститься
Мне назначено с косою
И моей девичьей долей,
Дай мне счастья в жизни столько,
Чтоб оно не уместилось
У меня между грудями,
Чтоб в моем девичьем сердце
Счастью было б так же тесно,
Как на небе тесно звездам,
На опушках — землянике,
На полях — цветам и травам,
А в лесу — зеленым соснам...
Это счастье я по капле
Жадно выпью, чтоб напиться.
Счастье это завяжу я,
Чтоб оно не рассыпалось,
Как заморское монисто
Под неловкою рукою...

Счастье это передам я
Той, кто старость приголубит,
Той, кто жизнь мою повторит,—
Дочери моей любимой...

*

Я сижу на самом светлом,
Светлом месте у окошка
В доме батюшки родного.
Я сижу на этом месте,
Словно камень неподвижный,
Словно пень щербленой ели,
Побледневший пень березы,
Обомшелый пень осины,
Покрасневший пень ольховый...
Я — как нитка из Москвы,
Что вот-вот в руках порвется;
Я — как берег из песка,
С ревом пасть готовый в воды;
Я — как лапушник[34] в стремнине,
Унестись готовый дальше;
Я — как омут на заливе,
Вновь готовый закрутиться;
Я — как Сысолы теченье,
Пасть готовой в воды Эжвы[35]...
Как же не просить мне счастья,
Если я без счастья в море
Упаду, как воды Эжвы
Упадают ежедневно?

*

Для каких гостей сегодня
Я надела эти серьги,
Эти кольца с позолотой?

Я-то думала: приедут
К нам отца родные в гости!
Я-то думала: приедут
Доброй матушки родные!..
Ах, сестрицы дорогие,
Если б ветер дул нам с юга —
Мы б на север путь держали;
Если б северный был ветер —
Тосковали б мы о юге.
Но отсюда, от окошка,
От родного сердцу дома —
Вы б меня не отрубили
Топорами и жердями,
Не подняли бы, как в парме[36]
Побледневший пень березы,
Обомшелый пень осины,
Покрасневший пень ольховый...

*

Он приехал безоружный,
Топора ему не надо,
Как не надо длинной жерди,
Чтоб березу вырвать с корнем!
Подрубил меня он словом,
Мягким, как парное масло.
Он унес меня, как память,
Запахнувши под одежду,
Завязав в широкий пояс;
Он унес меня в ладонях,
Как ребенок мяч уносит,
По дороге им играя;
На губах унес, как утром
Первый вздох от сновидений.
И как вздох пустил, проснувшись,

На большом и ровном поле,
Чтоб его развеял ветер,
Чтоб под солнцем он растаял,
Чтоб смешался он с травою,
С ароматами лесными
И раздольем певчих птичек...
Вердан-вердысь [37], мой родимый,
Как же в жизни так случилось?
Ты меня из сердца вырвал
Из родного дома гонишь?
Детство, детство золотое,
Как пчелиный звон над полем,
Как крыло пролетной птицы!
Ты сумел меня, бедняжку,
Вырастить такой высокой,—
По плечо тебе я стала!..
Ты сумел меня, бедняжку,
Откормить, как кобылицу.
Никогда суровый взгляд твой
Не пронзал меня стрелою;
Никогда суровый окрик
Не бросал ты мне под ноги,
Чтоб под ним я оступилась.
Если гость входил в ворота,
Сам к воротам поспешал ты,
Чтобы утренней росою
Я ноги не замочила.
Если матушка прикажет
Горсть кедровых дать орехов,
Ты давал четыре горсти.
Ты стоял, как золотая,
Недоступная вершина,
И тобой я украшалась,
Как в воде широкой Эжвы
Украшаются вершины

Отраженным светом солнца...
Иль во тьме осенней ночи.
Кубки на столе виднее?
И зачем теперь чужому
Ты до полу поклонился
Красотой моей девичьей
И моей девичьей волей?
Или мало было горя,
Что ты сам себе придумал
Горе новое — большое?..

*

Пожелай же мне, родимый,
Чтоб в моей замужней жизни
Двери мужа раскрывались
Так же настежь, как отцовы.
Пожелай от леса столько,—
Сколько в нем зеленых сосен.
Пожелай от бора столько,—
Сколько в нем грибов и ягод,
От воды — богатства рыбы,
От песка — песка несчетность,
От полей — травы и цвета...
Пожелай, чтоб в новой жизни
Дочери твоей любимой
Было радости и счастья
Столько, сколько в нашей парме
Молодых зеленых сосен,
Сколько рыбы в наших реках,
Сколько трав в лугах прибрежных,
Сколько звезд на синем небе,
Сколько песен есть у дочки,
Дочери твоей любимой!..

П·Е·С·Н·И

ЭТО ДИВО, ЭТО ЧУДО — ДО ЧЕГО ЖЕ Я КРАСИВ!

Это диво, это чудо —
До чего же я красив!
Почему ж меня не любит
Моя милая жена?
От кровати оттолкнула,
Печень с легкими отбила,
Ребра все пообломала,
За дверь на ночь прогнала́!
На базар я собираюсь —
Русский гребень я куплю,
Русское зеркальце...
Я в то зеркало смотрелся,
Гребешком тем расчесался,—
Вижу сам — красив лицом.
Почему ж меня не любит
Моя милая жена?
На базар я собираюсь —
Ножницы себе куплю...

Догола я кудри выстриг,—
Не нужны мне больше кудри,
Не нужна моя краса:
Меня женушка не любит!
К речке Эжве я спустился
И топиться собрался,—
Вижу — лодка на песке.
В лодке той плыву по Эжве —
Вижу — девицы в реке
Полоскают, все босые,
И все три красивы очень,
А одна красивей всех.
На щеках ее румянец,
Голос с алым переливом,
Как смородинки — глаза...
Неужели ж эта девка —
Моя милая жена?
Та, с которой поднимался
Я на паперть под венец,
Та, которой целовал я
На всю жизнь церковный крест?
Молодуха зарыдала,
Так и льет у ней слеза:
— Ты прости, коль виновата! —
Тут мы крепко с ней обнялись,
Очень сладко целовались...

МАТУШКА ЛАПУШКА

— Матушка-лапушка, черный барашек идет!
— Дитятко милое, пусть себе идет.

— Матушка-лапушка, на крыльцо взошел!
— Дитятко милое, ну так что ж?

— Матушка-лапушка, он в сенях стоит!
— Дитятко милое, пусть себе стоит!

— Матушка-лапушка, он к полатям идет!
— Дитятко милое, пусть себе идет!

— Матушка-лапушка, просит ночевать!
— Дитятко милое, пусть переночует.

— Матушка-лапушка, на постель залез!
— Дитятко милое, пусть себе лежит.
— Матушка-лапушка, ребенок уж есть!
— Стерва-негодница, откуда принесла?
— Матушка-лапушка, ты мне помогла!

Я ГУЛЯТЬ ХОДИЛ

Я гулять ходил,
Видел красну девку —
Стоит на крыльце:
Ни высока, ни мала,
Ни толста, ни тонка,
Русовата волосами,
Щеки алые, как кровь,
В вышитой рубашке.

Тятька, тятька, запрягай же
Сторублевого коня
В золоченую карету,
В дуговину медную,
В вожжи шелковые,
В супонь проволочную!..
Я поеду свататься,—
Девку ту засватаю.

ОН УЕХАЛ ДАЛЕКО

Тот, кого жалею больше всех,
Тот, кого люблю я больше все,—
Он уехал далеко.
Он унес с собою ласковое слово,—
Только перстень мне оставил золотой.
Целый день ношу на пальце
Я тот перстень золотой,
Ночью же — кладу под изголовье.
Утром встану — умываюсь
Я горючими слезами.
Были две пуховые подушки у меня,
Но они насквозь промокли.
Было одеяло у меня из соболей,
Но оно не греет мое тело.

ОПАЛИ КРАСНЫЕ ЦВЕТЫ

Опали красные цветы —
Кому ж их поднимать?
На зеленый луг мне надо
Бежать, звать милого к себе,
Посидеть к себе домой.
Обещал притти мой милый
В гости после полуночи.
Прилетел вдруг голубок,
Сел на крышу голубок,
С крыши на крылечко,
С крыльца на окошко...
— Ты проснись, моя родная,
Открывай скорее двери,
В гости я иду к тебе!..

СЛЕЗЫ

— Девушка-красавица, плачешь ты о чем?
И о чем тихонечко жалобно поешь?
Почему украдкою прячешь в свой платок
Ты слезинки крупные, будто жемчуга?
Солнце мое ясное, не тоскуй, душа!
Сердца сердцевиночка, слезы обтри!

— Как же не печалиться, братец дорогой?
Серебром да золотом, дорогими платьями
Задарили батюшка с матушкой меня,—
В серебре да золоте счастье не живет!
Ровно через месяц замуж отдают,
Замуж за немилого, замуж за нелюбого!..
Потому и плачу я, и пою тихонечко,
И украдкой слезы лью и лью в платок,
Слезы мои круглые, будто жемчуга...

ВЫКУП

Под окном, под окном
Злые люди стоят;
Вдоль по лавке кругом
Все татары сидят!
Под полатями в избе
Гуриляк стоит,—
Девицу-красавицу
В полон берут.

— Батюшка, батюшка,
Выкупи меня
За красивого коня!

— Дорогая доченька,
Выкупил бы я,—
Да не стоишь ты того!

БЕСПРАВНЫЕ

ПИТЮ-ÖНЬÖ

БЕЗДОМНАЯ КУКУШКА

Коми-женщина в прошлом

Вчера вечером
Сердце девичье
Налилось бедой,
Горькой горечью.

Вот с того часа,
Со вчерашнего
Жду здесь милого,
Жду желанного.

Вот уж день встает,
Солнце глянуло...
Издалека мил
Возвращается.

Подбегу к нему,
Встречу ро́дного
И щекой прижмусь
Ко белу лицу.

Ко груди прижмусь.
К сердцу теплому,
А потом начну
Горе сказывать:

— Ты любимый мой
Ты желанный мой,
Ненаглядный мой,
Сердца солнышко!

Без тебя меня
Съели, слопали,
За немилого
Вчера пропили.

Поутру придут
С обручением,
А в воскресный день
Поведут к венцу.

Как упала я
Перед тятенькой:
«Не сменю дружка
На уродину!

Вы вонзите нож
В сердце кровное
Иль снимите с плеч
Девки голову,—

Только с Ванею
Не разлучите,
За немилого
Не хочу итти!»

Стал отец ругать,
Словно бешеный.
Голосила мать,
Прислонясь к печи:

«Мы поили тебя
И кормили тебя.
Человеком тебя
В люди вывели.

Что ж ты делаешь,
Окаянная,
Отца с матерью
Ты ослушалась?

Так бери скорей
Пару валенок,
Уходи от нас,
Будь гулящею!»

Слезы горькие
Потекли ручьем;
Отцу-матери
Причитала я:

«Ты зачем меня,
Моя милая,
Родила на свет,
В люди вывела?

Лучше б голову
Раздавила ты
Ногой матери
При рождении;

Лучше б было мне
Гнить в сырой земле,
Чем слова твои
Слушать не к сердцу!»

Тут отец взревел
Пуще прежнего,
Подошел, толкнул
Головой в косяк.

Он таскал меня
Больно за косу,
Стал топтать-пинать
Груди белые.

А потом открыл
Дверь скрипучую
И на улицу
Меня выбросил:

«Уходи, мол, с глаз
Не отсвечивай!
Ты не дочь моя —
Девка лешего!»

Сам же в дом вошел,
Стал стучать-греметь,
На жене своей
Стал срывать свой гнев.

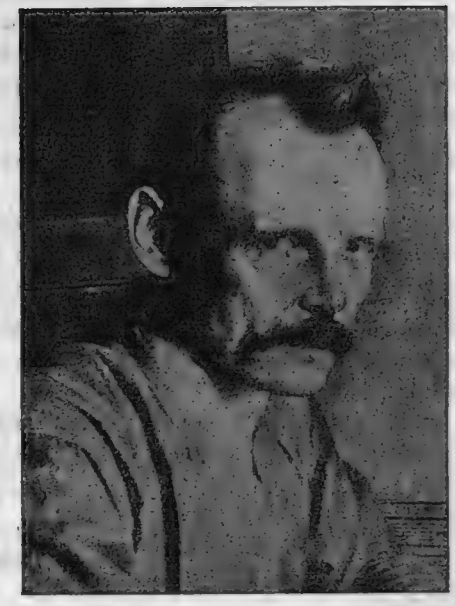
Постояла я
За воротами.
«Где приют найти?» —
Думу думала.

Вышла на поле,
Села на межу,—
Все глядела я
В даль восточную.

До утра всю ночь
Я сидела здесь,
Твоего ждала
Возвращения.

Никого ведь нет,
Кто бы жизнь вернул,
Успокоил бы
Долю девичью!

Ты один, родной,
Ненаглядный мой,
Дашь покой душе,
Сердцу — радости!..



ТИМА ВЕНЬ

ЗА ЦАРЯ

Отрывок из повести „Шойна"
(Один из тридцати миллионов)

...В осеннюю, как сажа темную, ночь приехали в один из маленьких уездных городков юго-запада России. Здесь стоял их полк. Пополненцев высадили из тряских вагонов-теплушек и, как овец, погнали в другой конец города. По колено в жирной грязи брели по середине улиц, с котомками из белого домотканного холста... Молчаливые, нахмуренные... Исчезла разговорчивость, пропала последняя надежда на возврат домой. Как осенняя темная ночь, жутким и темным казалось им будущее.

Город уже спал... Нигде ни огонька. Только в конце города, на бульваре, под высоко поднятыми оглоблями телег и возле колес слабо светились потухающие костры. Это «беженцы» — крестьяне, бежавшие от войны,— лагерем расположились на ночь... Порой доносились оттуда жалобный плач детей и ржанье лошадей, стосковавшихся по своим родным, привычным стойлам.

Вот и казармы. Далеко раскинулись облезлые грязные, как бы вылинявшие, корпуса. Со всех четырех сторон протянулись они, словно огромные черные гроба. В середине — плац: плотно утрамбованная солдатскими подошвами земля. Грустно смотрели на ратников строения с темными окнами, напоминавшие тюрьмы...

Завели в один дом. По широким, скользким от грязи лестницам поднялись на верхний этаж. Непроветривавшейся с самой постройки казарм холодной сыростью повеяло от покрытых плесенью стен и потолков.

— Ну-ууу!.. вот так попали в яму!.. — тяжело вздохнул кто-то из ратников.

— Здесь нас и будут держать?.. В таком гробу?..

— Не долго продержат... — сами же себя успокоили.

Не раздеваясь, легли на голый пол, подложив под головы свои котомки, и под черным пологом ночи сыновья народа коми, пригнанные сюда с далекого Севера, уснули крепким и тревожным солдатским сном.

Не спал один Сергей Вась. Не мог он сомкнуть своих глаз и потихоньку всхлипывал, уткнувшись в холст своей котомки. Неспроста, должно быть, плакал он: видно, предчувствовало его сердце, что́ здесь ожидает беднягу.

Не первый человек здесь был Вась да и не последний из коми,— шестисотый ополченец он из одной только своей волости. Многих угнали на войну: и старых и молодых, и раньше его и после. Но очень уж мягкосердечен и чувствителен был Вась, впервые вышедший за пределы своего лесного края. Никак не мог примириться он с

этой жизнью, не мог себя приспособить к заведенным в армии порядкам...

... Рано утром, едва небо начало бледнеть, послышался дикий выкрик дежурного:

— Встава-аай!

Как будто откуда-то сверху свалился этот голос. Тем, кто был непривычен к таким возгласам, показалось, словно кричали: «пожар». С испуганными лицами, с дрожью в сердце вскочили ратники. И долго еще после этого не могли они привыкнуть к этому дикому,— и, главное, совершенно ненужному,— сумасшедшему крику дежурных. Но таков уж был «порядок». Так начиналась боязливая солдатская жизнь...

Начальство приступило к переделке пополненцев из «мерзлых пней» в «лихих солдат». Свою одежду заставили снять, выдали лоснящиеся от грязи, непригнанные по росту шинели, сидевшие на ратниках вроде поповских подрясников. Пальто, пиджаки, сапоги,— все это за бесценок пришлось продать своему же кадровому начальству: взводным и отделенным. В несравненно меньшем масштабе, но и их, как Круппа, обогащала война. Каждая вновь прибывшая партия была им на-руку: целыми охапками покупали они вещи новобранцев и спекулировали ими на базаре, продавая их втридорога, а что получше — посылали домой, копили на будущее, когда война окончится. Никто из молодых солдат, впрочем, и не подозревал об этой торговле: им первое время было запрещено выходить из своих казарм.

Тяжело было Васю расставаться со своими вещами: ведь они были последней его связью с родными местами, с домашней жизнью. Однако, пришлось. Котомки ратников с домашним хлебом, и те не уцелели. Как только они опустели, их разрезали на портянки, и после этого ничего уже домашнего не осталось; разве у кого-нибудь сохра-

нялся носовой платок или кисет для табака, как последнее воспоминание о жизни, оставшейся далеко позади.

Начали муштровать — «учить»: выпрямлять горбы, сближать широко расставленные, как оглобли сохи, ноги, запрокидывать голову, «подтягивать» живот, менять походку, требовать «молодцеватой выправки» и статности. Целыми часами, до того, что икры ног начинали опухать, заставляли унтера топтаться на одном месте, добиваясь четкости и звучности шага.

Всю жизнь люди прожили, ходили, стояли — и все ничего, а тут и стоять, оказалось, не умеешь, и ходить: ноги заплетаются, руки как будто не свои, зря болтаются,— все стало неладно. Чуть голову повесишь — по щеке съездят, чуть сгорбишься — кулаком звизданут, если зад немного выставился — коленом пнут... Как у катальщика каток по валенку, когда придают ему фасон колодки, так ходят кулак начальника да приклад унтера по солдатскому телу. Ротный офицер всегда ходит с нагайкой в руках. Когда он вышагивает перед рядами солдат — обязательно ручкой нагайки кому-нибудь о кость щеки звякнет, а когда сзади проходит — ножнами шашки тычет их в места неудобосказуемые...

Особенно крепко попадало Ивану Йогору и Сергею Васю. Недаром оба они были самые смирные и безответные из всех. Так уж повелось в проклятое старое время, когда все понятия были словно вывернуты на изнанку: чем смирнее человек, чем он слабее, беднее, чем послушнее, прилежней, темнее, безграмотнее,— тем сильнее будут его угнетать, превращать во вьючную скотину, топтать в грязь его человеческое имя, его душу. А что эти смирные да темные бедняки честнее и прямее многих богатых и сильных,— разве об этом кто думал?

Оба были неграмотны. Йогор совсем не учился, Васьнемножко знал грамоте,— «для себя», как говорится,— но по-русски не понимали ни тот, ни другой.

— Эй ты, самоедская морда!..— любил покрикивать на Вася или на Йогора, когда у них что-либо не выходило, малорослый унтер с поросячьими глазами.

— Мы не самоеды, а...— заикнется, бывало, кто-нибудь из группы, но сразу же смолкает от нового окрика:

— Разговорчики? Молчать!.. Все равно скоты!..

До упаду заставляют взводные бегать из-за каждой пустяшной провинности: за то, что шагать, как полагается, не умеешь, левой-правой ногой не во-время ступишь, честь отдать не сумеешь,— да мало ли провинностей у загнанного, затурканного новобранца найти можно?

Отделят Вася от других и давай гонять, как жеребенка: «Ать-два, ать-два... Левой... Левой!..» Далеко заставят бежать. Да что — далеко! Вась рад бы еще подальше убежать, чтобы только хоть на миг не видеть ненавистного лица, не слышать голоса своего мучителя. Но строгий, заставляющий вздрагивать окрик взводного поворачивает его обратно: «Кру-гом!» Заставит добежать до себя, и опять: «Кру-гом!» Запыхался уж Вась, в боку колет, сердце вот-вот разорвется, перед глазами темно; спотыкается и снова бежит, мысленно подсчитывая, чтобы проклятые ноги не спутались: «ать-два, три»... «ать-два, три»... И после каждого «три» непременно себе под нос тихонько добавит: «тщетыре»...

— Тщетыре... тщетыре... тщетыре...— шепчет Вась, прихрамывая на бегу на левую ногу. Грустно и жутко было смотреть на него в эти минуты.

И при стрельбе в цель Вась никогда не попадает,— рука дрожит. А ведь дома как он любил свое маленькое опрятное ружье да как стрелял из него, охотясь за белкой или рябчиками! Ни один заряд впустую не выпускал, а тут — нà тебе, не попадает!.. Не попадает у Вася и острие штыка в чучела, сделанные из соломы, на которые новобранцы идут «в атаку»: и тут у него дрожит рука, будто живого человека колет,— непременно в сторону по-

падет, либо едва прикоснется концом штыка к соломе. За это Вася опять «греют».

А вечером — «под ружье». Насыплют Васю полный вещевой мешок песку и поставят в холодный коридор. Стоит «лихой солдат» неподвижно, как столб, только горбится постепенно. Еще бы! Как свинец, давит его полуторапудовый мешок; как острые ножи, режут тонкие лямки мускулы плеч. А тут вдобавок, еще двенадцатифунтовую винтовку надо держать прямо в руках. Руки отекают, ноги сгибаются,— вот-вот упадет «лихой солдат». Хоть бы чуть-чуть прислониться к стене! Да куда там прислониться: дверь канцелярии приоткрыта, оттуда все видно. Чуть что — сразу крикнет взводный: «Пряма-а!»

И стоит и стоит Вась. Сам не замечает, как слезы капают из глаз. Сквозь мокрые ресницы чудится ему, как будто виднеется родная деревня, возле самого косогора над тихо журчащим ручьем Рас-Йоль,— такая тихая, такая любимая, такая невозможно далекая, вся в невозвратимом уже прошлом!..

«За что? За какое же преступление?»

Не может понять этого Вась, но сверлит его мозг назойливый, въедчивый вопрос:

«За что?..»

«За царя...» — тяжелым молотком стукает по голове мысль, которую вдалбливали в него всю жизнь. «За царя». И отца его «по указу его императорского величества» засудили на полгода за то, что скосил сено с казенного луга — с участка шириною в избу; и дядя у Вася помер «за царя», опившись спирта из царской винной лавки; и молись «за царя», и умирай «за царя»... Да еще и стой теперь «за царя»!

И стоит и стоит Вась...

А после, уже ночью (когда спит солдат — неизвестно), придется еще зашивать кругом распоровшуюся шинель, которую Васю сегодня разорвал отделенный во время

ученья-мученья. Затем сапоги еще вычистить... «Чтоб блестели!» — сказал взводный. Да, снаружи-то чтоб блестели, а внутри чтó — какое дело взводному? А там болото настоящее: и грязи и воды в них полно, только что мох не растет...

Стояла поздняя осень. Дожди чередовались со снегом: один день морозило, другой мочило. Ночью земля превращалась в камень, а днем в скользкую грязь. Уныло выглядели давно уже сжатые, опустелые поля за городом. Теперь на этих полях ратников учили выслеживать и стрелять в отсутствующего врага. Жирные вороны летали над полями. «Труп!.. труп!..» — каркали они. Целый день носились ратники по вязкой земле; часами заставляли их лежать без движения. Каменели руки, ноги, коченело все тело, до мозга костей проникала знобящая осенняя сырость.

Иногда загоняли солдат в казармы: «словесность подзубрить». Мученье от нее, от этой словесности — еще пуще!

Казарма — полутемный сарай, вроде бесконечно длинного, узкого тоннеля. Голые, пустые темные стены. Вдоль стен грязные, пыльные нары. На нарах сплетенные из соломенных жгутов пласты в сажень длиной и в две четверти шириной. По названию это матрацы, а на деле — чорт знает что... Не на чем остановиться глазам, отдохнуть, посмотреть; ни уму, ни сердцу ничего не дают кое-где висящие портреты царя с бессмысленным лицом, выродившегося кретина. В царя же упиралась и вся наука солдатской словесности, призванной вымуштровать мозги защитников чугуннозадой Российской империи.

На концах нар тесно, плечо к плечу, непрерывной линией сидят ратники. Посередине — узенький проход, в нем ходит «учитель». Тишина такая, что, кажется, слышно, как шуршат в соломе матрацов бесчисленные блохи. Уны-

ло и однообразно прерывают эту тишину надоевшие вопросы: как титуловать того или этого генерала. Спешат ратники показать свою лихость в заученных ответах: «его высочество»... «его высокопревосходительство»... «благородие»... «высоко»... «господин»... Бесконечно, беспрестанно, неизменно долбят все одно и то же. Надо же знать доблестному солдату российскому всех своих начальников, начиная с царя и кончая самым последним ефрейтором,— каждого по имени, отчеству, чину!.. И встают перед глазами ратников, как верстовые столбы на бесконечной дороге, бездушные чучела с золотыми погонами, пуговицами, шпагами, шпорами.

Дрожит Вась, в холодный пот бросает его, когда до него дойдет очередь отвечать. Сердце с испугу трепещет,— совершенно теряется Вась... Забывает, что знал, и получается вовсе не то, что надо, а то и совсем не поворачивается язык... Сегодня опять не миновать наказания: мешка с песком, сна без ужина, брани, побоев.

Так муштровали: учили бить «врага» — «внешнего и внутреннего», «погибать с честью», «умирать на поле брани». А из-за кого? Ради чего? Известно: «за царя», «за Русь»! За них иди и умирай — и баста: ведь потом уж ничего не спросишь.

«Почему? За кого?» — придет иной раз мысль в голову ратника, но на этом и замирает. «Русь? — прошепчет Вась чужое, непонятное слово.— Да кто же эта Русь? Где она?.. Почему нас, коми, не ставят вровень с русскими? Почему издеваются над нами, как и над другими «инородцами», которых тоже гонят на убой за эту же «Русь». Вот и евреев тоже всячески притесняют, лают их «жидами», как нас «мордами». Но разве не «Русь» и русские крестьяне, которых тоже лупят не хуже нашего? Разве не одинаковые мы люди? И кто же враг наш?.. Почему это мне, Васю, стал врагом тот же рабочий-немец или крестьянин-австриец?..»

На улице ветер, идет осенний дождь, пополам со снегом, и бьется в окна. Ветер свистит через щели в оконных рамах, жутко воет в печных трубах, дует в казарме, волнами нося затхлый, давяще тяжелый воздух. Поет ветер, точно оплакивает, заранее живыми хоронит загнанных в казарму, оторванных от семьи людей...

День шел за днем, ночь за ночью. Прошел месяц. «Ученье» подходило к концу. Маршевая рота была сформирована.

— Довольно! Не для чего долго держать! Готово пушечное мясо! Свеженькое! Нечего его здесь гноить! Честь отдать умеют, сиятельства всякие по имени-отчеству, чину знают,— даром, что никогда их и в глаза не увидят; умеют шагать «левой-правой», из военной техники знают, как спустить курок винтовки, во все горло кричат «ура», ястреба с аэропланом не путают... Что же еще надо русскому солдату? А коли чему не доучились — на войне доучатся, если их не уложит первая же неприятельская пуля! Ну, а и уложит — тоже не беда: у русского царя много еще такого «пушечного мяса».

Так решило начальство.

А ратники все еще ждали окончания войны. Каждый надеялся вернуться домой. С большой верой молился Вась несуществующему богу. Но не услышал его бог: война не кончилась, и надежда на него постепенно исчезала.

— Видно, заодно с царем и бог!..

Не слышал бог мольбы солдата, не видел его кровавых слез, не принимал заказных молебнов, толстых свечей, даваемых домашними обетов сходить в Ульяновский монастырь, этот центр «православной» пропаганды среди коми... Ничто не помогало...

В конец доканали Вася: зачах, завшивел, покрылся коростой, совсем заболел,— один скелет остался. Все вытрясли, что было в Васе, в труп превратили. Даже смерти грозящей стал радоваться.

— Хоть бы скорее на позицию, что ли! Скорее уж конец!

Исполнилось желание Вася. Одели, обули, исповедали-причастили: приготовили умирать по всем правилам, и маршевой ротой Вась с товарищами отправился на фронт — под огонь неприятельских орудий.

... Два письма только и написал Вась домой. Одно — по прибытии в казарму, но ничего в нем не сумел он написать: все письмо было полно поклонами, и хотя поклоны были большие — «от неба до сырой земли», а толку в них было мало. Второе — накануне выступления в поход. А из дому получил и того меньше,— одно и также полное «поклонами». Да и о чем писать было? Все та же горькая жизнь дома, грусть-тоску навевающая. Без счастья здесь прожит человеческий век. Таким же горьким будет и ничем ярким не запечатленный конец его.

... Последний вечер в казарме. Завтра с рассветом — в поход. Ратники готовились: укладывались, звякали походными котелками, заступами, колышками палаток, свертывали плотнее, завязывали-развязывали без конца... Побросали из котомок все, что могло оказаться лишней тяжестью. Писали письма домой: родителям, братьям, сестрам, женам, зазнобушкам... Читали последние письма, полученные из дому. Зашивали, чинили... А кто уже все приготовил, те просто валялись на нарах: курили, шумели, играли на гармониках... Пыль столбом стояла в казарме, махорочный дым волнами крутился в последних горизонтальных лучах низкого осеннего солнца, с трудом пробиравшихся через запотевшие окна...

Вась тоже что-то копошился, но у него, у бедного, все из рук валилось. Наконец оставил он разбросанные вещи и подошел к своему другу и сверстнику Воне [39]. Медленно сел к нему на нары, тяжело вздохнул и сказал тихонько:

— Напиши мне письмо...

— Ведь ты же сам умеешь?..

— Не умею!.. Не выходит у меня... У тебя лучше по-

лучится...— почти шопотом сказал Вась, обнял Воню и вдруг зарыдал...

На нижних нарах, ничком, растянулись два приятеля на жестких соломенных жгутах и приготовились писать.

— Ну, что же напишем?

— Сам ведь ты лучше знаешь и мое и свое...— только и смог сказать другу Вась. Пока писалось письмо, он все время плакал.

На верхних нарах возились: оттуда сыпался песок, пыль. Вот пролилась в щель между досками нар вода из задетого ногой чайника и струей хлынула на головы пишущих. Но не охладила их вода — слишком велика была грусть на сердце двух приятелей, как, впрочем, и у всех других. Вась еле слезы утирает, дрожат руки пишущего. А тут еще, вдобавок, где-то во втором ряду нар слышен чистый тенор Медасова Веча [40], лучшего певца во всей их артели. Пел теперь он для отправляемых на фронт солдат самую близкую, самую волнующую их песню, песню, в которой вылилось все горе, все отчаяние, накопившееся в сознании солдата царской армии за все время бессмысленного кровопролития в никому не нужную войну с Японией. А вот теперь то же самое повторяется и в эту войну.

... Пла-а-ачет о-те-е-ец мой,
Плачет же-на-а мо-ло-да-а-я... —

поет Веч, растравляя и без того полные болью и невыплаканными слезами сердца ратников.

И постепенно галдеж в казарме уменьшается. Наконец он замолкает совсем. Вот прекратились даже отдельные возгласы,— все отдались пению Веча, все переживали чувства, выливавшиеся в его пении, всех заполнила эта песня.

— Перестань, милый! Перестань, дружище! Все сердце расстроил... — сказал кто-то из ратников, но таким тоном, что нельзя было понять — не то он останавливал, не то просил продолжать пение.

Певец и не думал переставать; напротив, все больше и больше входил он в азарт. Не для себя одного он теперь пел,— он пел за всех и для всех. Представил он себе, как проносятся сейчас перед их мысленным взором оставшиеся далеко позади годы молодости, годы — немногие годы! — веселой жизни. Ясно ощутил он острую тоску их по этой жизни, невозможность вернуть ее и всю грусть-печаль настоящего. Но вместе с этим грустным чувством песня поднимала откуда-то из глубины души жившее где-то в глубинах сознания ратников чувство иного рода — чувство, зажигавшее их ненавистью к виновникам векового народного горя. В слова легальной песни певец незаметно сумел вложить другой, нужный ему смысл. Слышно было, как заходили в другой конец казармы ротный с фельдфебелем. Послышался было чей-то слабенький крик: «Встать... Смирно!..» — но никто не встал (не то, что в другие, обычные дни), никто даже не пошевельнулся.. Никто не заметил, как они вышли обратно, будто не заходили.

А Медасов пел дальше. Все крепче и вернее становился его голос. Далекая, глубоко затаенная, но нарастающая, как шум прибоя в море перед непогодой, звучала в его песне угроза: за горе, за слезы, за многовековое угнетение — за все потребовать с кого-то расплаты.

Но за вас мы, друзья, отомстим!
Справим кровавую тризну!

Здесь уже ясно слышались, как издалека доносящийся шум разбушевавшегося моря, ноты народной ненависти. Так иногда в лесу перед большой бурей шумят, просыпаясь от вечного сна, верхушки задремавших деревьев.

Сознательно или бессознательно, но семя брошено, и почва орошена кровью и слезами солдат. Пусть она, эта почва, пока что мерзлая, под снегом,— но ведь когда-нибудь и здесь взойдет солнце и упадет и на эту землю его оживляющий луч!

Эх, песня, песня, песня сердца! Чего не сможешь сделать ты с человеком?!. Бедная ты, несчастная «Российская империя»! Ничего-то у тебя не было, кроме песни, кроме горя да жалоб! А народности, подвластные тебе, те и о горе-то своем не умели, не могли ни рассказать, ни спеть! Ничего у них, у сынов леса, не было, ничего-ничегошеньки! Был, правда, говор, язык,— но считались они немыми. Животными без языка. Ни письма у них не было, ни песни...

И что же было делать Васю и другим?.. Как рассказать о том, что у них внутри делается? Только и оставалось одно им — плакать! Плакать от своего бессилия, от неумения не то что найти, а даже искать выход. Плакать потому, что не можешь сказать, как и что ты чувствуешь, что волнует, что мучает тебя.

Кончилась песня. Оборвались у певца струны голоса. Но отголоски пения все еще звучали в воздухе казармы, все еще отпечатывались в извилинах мозга, в сокровенных уголках сердца...

Кончил и пишущий письмо. Писал он от имени Вася:

... «Муся чойэй Марйаэй! Гижа ме теныд, гусьэньик ас йылысь»...

...«Милая сестра Мария! Пишу тебе тайком о себе. Ох, как скучно, если бы ты знала! Сердце не находит места. Здесь никакой правды нет: ругают, бьют, наказывают, да и бога, видно, нет — война не кончается. Я уж совсем заболел: ноги ноют, в боках и в груди беспрерывно колет; просился в больницу — не пускают, ничему не верят. Сапоги совсем изношены, ноги все время зябнут, одежда никогда не высыхает — своим телом и сушишь ее на себе. Я кругом разбит, если когда-нибудь и вернусь домой — здоровья не будет. Еще ни разу не бывал в бане, вшей на мне,

что песку, так и кишат... Да что уж и говорить! Вещи свои все уже распродал и проел. Остался только вышитый тобой носовой платок. Ты еще мала, сестра. Учись, набирайся ума. Всегда такая жизнь не будет, когда-нибудь ведь будет же правда на земле; война кончится и приедем обратно домой... Кутяна [41] никуда не давайте, пусть живет. Очень соскучился по всем и по всему! Ох, как бы я теперь, если бы был дома, работал — самую тяжелую работу на полях делал бы вместо этой проклятой службы! Только еще на том сердце и успокаивается, что я здесь не один; не один терплю эту муку. Завтра нас отправляют отсюда, с позиции уж потом напишу. Мы все из своей волости пока еще вместе. Никто не рад этой войне, всем очень тяжело. Сегодня последний вечер здесь в казарме, а завтра-послезавтра под огнем уж будем, и кто знает, что будет... Ну, прощай и прости, милая, дорогая сестра! Твой брат Вась. 25 ноября 1915 года».

... «Адреса теперь еще не знаю, где будем, в каком полку, в какой роте. Извещу оттуда. Прощай».

... Так и не вернулся Вась домой, как не вернулись и многие другие, вроде Вася, с этой проклятой «шойна». Даже и адрес, обещанный в его последнем письме, не понадобился. Пал он в первом бою, как сорванная и неизвестно куда унесенная ветром безвестная травинка.

Напрасно ждал Вася Кутян — его любимый друг на охоте и дома. Скулил Кутян днями и ночами под подмостками амбара.

Долго ждала Вася и его сестра. Достанет посланное братом письмо с угла полки и бесконечно читает; густой росой покрываются ее глаза.

... На косогоре, на солнечной стороне, около ручья Рас-Йоль, грустно стоит деревенька Пасынок, всего в несколь-

ко домов. Ветвистые ели да кедры кое-где под окнами домов высятся, как памятники над могилами, и напоминают о павших. Вот из этого дома нет уже в живых здорового, работящего человека, из того — пал другой, оттуда погиб третий, четвертый... И все они пали на далекой неведомой «шойна», ушли и не вернулись.

Кто же развеет твое горькое горе, смирная, покорно-жалобная, жалкая, затерянная деревенька?..

ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ

НЁБДИНСА ВИГТОР

ИЗ ПОЭМЫ «СЫКТЫВКАР»

(Два отрывка)

С побережий Беломорья
В нашу сторону лесную,
Через Удору, на Эжву
Банда Латкина идет.

Ой, несет капкан для Коми
Банда белая! Мы помним,
Как ворвалась эта свора
В наше Айкино-село

Кровью вымыта дорога,
Страшен цвет мужицкой крови!
Тем расстрел, а этих топит
Латкин в проруби живьем.

Дело сделано у зверя:
Ижма, Вычегда, Печора
Уносили трупы павших
В битвах коми-партизан.

Много славных, много лучших
В том году в лесах погибло...
Так в угоду интервентам
Латкин доблестно служил.

Он для Коми вил веревку,
Чтоб стянуть на шее нашей,
Чтобы вновь стонал под гнетом,
Нес ярмо бедняцкий люд.

Но «герою» в авантюре
Счастье малость изменило:
Наш удар был грозно метким
По плешивой голове!

*

Пармы [42], леса нашей Коми дремучие,
Чем вас отметило время минувшее?
— Воем надрывным, лесным!

Чем вы наполнены в дни наши ясные?
Пармы, леса нашей Коми прекрасные,
— Радостным гулом гудим!

Пармы глухие, леса статноствольные,
Что знали раньше вы, в дни подневольные?
— Одурь медвежью и сон!

Боры сосновые, так ли вы дышите?
Что вы сегодня, дремучие, слышите?
— Пенье веселых колонн!

Лесополяна в цветном одеянии,
Что находилось вокруг тебя ранее?
— Мерзлотная сырость, туман...

Лесополяна моя вересковая,
Что ты услышала в годы грозовые?
— Встающей весны океан!

А вы, лесоречки, ручьи светлоярые,
Что знали вы в годы ушедшие, старые?
— Безмолвья мертвящую муть!

Ты, грудь голубая просторов нехоженных,
Скажи, по тебе что сегодня проложено?
— Широкий и радостный путь!

Ты, пармы разбуженной сердце дремучее,
Скажи мне, что́ есть в тебе самое лучшее?
— Богатство бескрайных лесов!

Скажи, косогор в ожерельи смородины,
На долго ли хватит богатства для родины?
— На много веков!

ВЫЛЬ ПАШ

ИЗ ПОЭМЫ «НЕУГАСИМЫЕ ЗВЕЗДЫ»

(Отрывок)

Идут года,
Что волны, друг за другом
По морю синему,
Гремя о берега.
И в песнях пармы
По ветрам и вьюгам —
Веселый
И многоголосый гам.

Послушай
Голос песни окрыленной.
В труде,
Раскрепощенном от оков,—
Сам запоешь,
Врезая шаг в колонны,
Кровь закипит,
И на сердце легко!

Ты запоешь
И вспомнишь дни былые:
Там братья
Проливали
Кровь свою
За лучший мир,
За пармы дорогие
В незабываемом бою.

В суровой парме
Бой кипел за Коми,
За милую советскую звезду...
Об этих днях,
О пламени и громе
Я эту песню
Нынче поведу.

*

В гуще пармы, там, где Ижма
Лижет лапы павших пихт,
В гуще пармы
Затерялось
В елях, в соснах Извайль-сьикт [43].

Здесь когда-то птице только,
Зверю только был простор.
Вой волков
И трели птичьи
Слушал темный, дремный бор.

Но приходит коми-кыйсьысь [44],
Ставит избу в бурелом.
И когда
Проходят годы,
Здесь гнездится к дому дом.

По камням струится Ижма,
Говор бора тайно глух.
Скрип деревьев,
Речи зверя
Человечий ловит слух.

Люди леса! Труд тяжелый
Вырастил бойцами вас:
Поглядишь —
Грозу увидишь
В голубых озерах глаз.

Хорошо стреляет, метко
Коми-кыйсьысь. И в бору
Знает
Каждую тропинку,
Как родную, как сестру.

Лес богат, зверья немало.
Бей, охотник, целься злей!
Но, увы!
У обдиралы
Коми-кыйсьысь в кабале.

За пистоны, порох, пули —
У купца твоя судьба.
И глядишь:
Долги согнули
В три погибели тебя.

Прӧмыс[45] отдан. Долг оплачен
Вновь шагай, ищи зверья,
На судьбину —
Незадачу
Злобу в сердце затая.

Знает кыйсьысь жизнь лесную,
Все знакомо для него.
Он с ружьем
И лайкой верной
Не боится ничего!

Не боится, смотрит в оба,
Лес дремучий смелость дал.
Ходит кыйсьысь,
Копит злобу
На проклятых обдирал.

*

Как-то однажды
По тро́пам таежным
Вести хорошие
Ветер принес...
Голову выше!
По сосенным кручам
Радости шквал
Колыхался и рос.

Слушайте, пармы!
Хорошие слухи:
Стало светлей
На российской земле!
Рухнул.
Трон, что подгнившее дерево.
«Тырмас»[46] купцам
И былой кабале!

Стало светлее.
Хозяином жизни
Вышел на волю
Народ-великан.

Гром Октября
По российской отчизне
Шел по лесам,
По полям и лугам.

Гром Октября
Долетел и до Коми,—
Нашей лесной,
Отдаленной земли.
Первые залпы
Ружейного грома
Кровью по нашим
Лесам зацвели.

*

Вышли с оружьем
Враги вековые,
Чтобы в крови
Нашу власть утопить,
Чтобы Советов
Ростки молодые
Резать и рвать,
Корчевать и рубить.

Запахом пороха,
Пулей военной
Вздыблены пармы
Глухие края.
Кровью окрасились
Ветхие стены
Изб от трусливых
Штыков воронья.

Бандою Латкина,
Сворой звериной

Вычерчен давний
Неистовый год.
Путь «вожака»
Бесславно недлинный
Помнишь ты,
Пытанный коми-народ?

«Хватит,— сказали мы,—
Наше окружье,
Силу народа,— врагу не украсть!»
...Так партизаны
Взялись за оружье,
Вышли в бои
За советскую власть.

Коми! Сыны твои
Боевые,—
Пало немало их
В этой борьбе!
Им посвятили мы
Строки живые,—
Участи славной
И славной судьбе!

САНДРИК ИОГОР

АЛЕША

— Ну, зачем же, чудаки вы этакие, в лес вам ходить?! Чего там ищете? Вы бы уж так и поживали: днем ребят грамоте обучали, вечером за девками поухаживали. А тоже в лес! Чай, за первой поляной уже и голова-то, небось, закружится со страху,— а нет, надо все дальше и глубже, как будто там уж и дичь для вас готова,— знай, вынимай из петли. Ведь целый день нынче блуждал, ни одного живья не взял!..

Так, по свойственой ему простоте души, безобидно ворчал на меня Захар-дядь.

Как хорошо, как чисто и уютно его жилище! И как мне хочется надолго остаться здесь: днем охотиться за тетеревами и рябчиками, а вечером греть ноги, упираясь ими о седьмое бревно сруба,— лежать так, лежать, ни о чем не думая.

Кола — лесные избушки — у коми курные, но в них устраивается особая берестяная вытяжная труба, через которую собравшийся в комнате дым выходит наружу.

Синей струей валит он. Чуть приоткрыв дверь, снаружи сунула свою голову белая собака Буско,— как часто кличут у нас лаек,— и в щель стали видны силуэты качающихся вблизи от избушки деревьев, а дальше — непроглядная темь.

Мои глаза невольно остановились на собаке. Какая покорность в этих прозрачных, хотя и черных, как два черных угля, глазах! Как красива эта острая, умная морда! Собака терпеливо наблюдала за своим хозяином и ожидала своей доли — отбросов от обрабатываемого им для ужина тетерева. Жаль, что не живописец я! Срисовал бы я с натуры эти умные глаза белой собаки, эту чуть открытую дверь и эти силуэты деревьев за ней.

— А что бы случилось с тобой, кабы не моя Буско?— после недолгой паузы снова начал Захар-дядь свою воркотню.— Что бы ты сделал для себя в этакую сырость, без огня-то, как бы ночь провел? Итти, кроме как дальше, некуда. (Оказывается, за день я уже покрыл тридцать с лишним километров от своей деревни.) Выбраться не сумел бы и заблудился. Надо же было тебе выйти и без топора и без огня! Централку, небось, захватил, а там и все! Как будто больше ничего и не надобно.

— Хорошо у тебя здесь, Захар-дядь!

— Хорошо, да не таким, как ты! — Нахмурился старик и замолчал: не так понял меня. Ничего не переспросил я, молча выждал, пока сам он не продолжит начатую речь.

— А ты вот попробуй здесь, после постоянного сидения над книгами, хоть одну осень провести! Так, как я,— совершенно один. Не сможешь ведь! Все, что нынче тебе приятно,— сразу неприятным станет. Знаю я вас! Вы ищете только совсем хорошего, либо плохого, а что посередке — того терпеть не можете! Да ведь учительствовать-то тебе не так уж плохо! Ан нет,— забрел куда, в этакую глушь, да еще под деревом на ночёвку пристроился. Эх ты! Да что с тобой говорить! Теперь, чай, не война. Ну,

тогда таких, как ты, неволя заставляла выходить в лес, скрываться, голод и холод переносить. Тогда, понятно, не до топоров было! А теперь-то кто вас неволит в этакую слякоть под елочкой ложиться? Я, вот, и в старое время ни разу не ночевал под елочкой. Хоть в полночь, а всегда добирался до теплой избушки. А ты теперь... Ну, что с тебя возьмешь... Эх, вот был один человек...

— Кого вы вспоминаете, Захар-дядь?

— Алешу! Ведь не дотерпел он месяца всего, ну, самое большее — два; а то и теперь бы жив был. Ведь человек-то был какой! Жаль уж, так мне жаль его!.. Вот у меня теперь сын один есть, и кто его знает, где он находится? Засудили — не за хорошее, понятно! — и нет у меня о нем жалости: «чего искал, то и нашел». Одно лишь неладно, что моим был он сыном. Если б я наперед знал, так я не вырастил бы его. Опозорил он честное имя отца и дедов своих, а ведь вырастил-то я его, на руках убаючиваючи. Как путного учил уму-разуму... Засудили его, вежема [47], за то, что из ружья застрелил лучшего колхозного коня... А конь-то этот лучший до колхоза мой был. Я в колхозе, а сын нет. Вот ему и хотелось, чтобы я до вступления в колхоз обменял своего коня на его клячонку и сдал в колхоз худшую лошадь... Вот ведь какого, оказывается, вырастил сына... Тьфу!

У меня даже сердце екнуло. Как же так — плевать на родного сына, который «кто его знает, где находится»? Повернувшись, я в упор посмотрел на Захара. Под нависшими густыми седыми бровями часто мигали длинные ресницы. По черным прядям бороды от пенной жары — мутные капли пота. А, может, и слезы капали вместе с потом. Жалеет, но не хочет выдать себя? В сознании — злоба на вредителя, а сердце отца болит, наверное, за сына.

— А, может, сыну твоему хорошо там? — пытаюсь я утешить его. — Может быть, уж ударник он?.. Может, уж

понял свою вину и искренно старается честным трудом загладить ее? Гляди, после отбытия срока еще и вернется в колхоз?

— Пусть так, пусть так и будет! Да и думать надо, что, так оно и есть: очень уж ретив он был на работе, только жадный чересчур,— это и подвело его... Говоришь — научится уму-разуму? Ну, надеюсь, авось, поймет свою вину! Ведь там, я слышал, трудолюбивых-то поят, кормят, воспитывают. Сознательными людьми делают...

Увлекшись воспоминаниями о своем сыне, он, как я думал, и забыл уже, с чего начался этот разговор.

«Расскажи же мне, Захар-дядь, об Алеше! Почему это о нем у тебя такое хорошее воспоминание?» — мысленно обращался я к своему собеседнику и молча, выжидающе следил за ним. Но он все так же, не спеша, горбился над раскаленной каменкой.

— Да-а-а! — попрежнему не обращая на меня внимания, начал снова Захар-дядь,— вот, знаешь, и во время войны, когда белые сюда к нам приходили, так-то с осени же я здесь был: на охоте зиму зимовать собирался. Здесь ведь старому человеку легче: меньше видишь, меньше слышишь,— меньше и сердце тревожишь. Сын мой на войне тогда мучился. Но и мне здесь не легче было. Случилось, ночи без сна проводил, еду свою не мог проглотить — отдавал собаке.

Такое уж было тогда время: и человеку, и животным, и живым, и мертвым — всем попало. Было что переживать тогда! Ведь всю осень пробыл я здесь — и ни один день нужной погоды не было! Только и знай, что от этих высоких сосен, которые возле избушки, чуть ночь,— так уж и слышится шум какой-то, глухой, заунывный. Веришь — поневоле жуть брала!..

Добычи, правда, в ту осень не было. Но я все же, когда через день, а когда как, выходил на промысел. И случилось это уже после снегопада. Была тогда со мной,

помню, белая лайка Мильтон,— мать вот этой собаки. Иду это я с ней как-то под вечер и слышу: лает она позади меня. «Кто это,— думаю — сзади-то?.. Что-то неладно, что ли, или зверь какой?» «Мильтон, кыч!» — кличу, а сам все иду к избушке. Кликал, кликал я, идучи-то, а она и не вернулась; все лает, и все на одном месте, да и лай, главное, какой-то особенный, не как на белку или там другого зверя пушного, а этакий, знаешь, протяжный — ровно бы на помощь зовет. И собака, а знает, на кого как лаять! «Что,— смекаю,— к вечеру нашла? К худу ли, к добру ли?» Ну, пошел на лай. Пришел, а под деревом лежит человек. Попытался, видно, бедняга, развести огонь, а не смог. Тоже вот, как ты, без топора вышел.

— Ох,— говорю,— вот и с Алексеем Ивановичем встретиться довелось! Да жив ли, приятель-то мой?

— Жив, Захар-дядь! — отзывается этак чуть слышно.

Развели огонь, погрелись. Без моей помощи на моих лыжах по готовой лыжнице пошел он к моей избушке. Не дошел все-таки. Всего шагов двадцать оставалось,— упал. Пришлось мне на руках тащить его в избушку, раздеть и уложить на нары. Он тут же у меня и заснул; так и не вставал ужинать. К утру заранее приготовил я завтрак — большого черного глухаря зажарил. Жарю это я, гляжу на гостя, и будто у меня веселей на сердце. Уж и сосны, кажется, сразу перестали тревожить. И так это мне легко стало, точно и не тосковал я все эти ночи, а спал спокойно. Даром, что вечер был сумрачный, а мне лучше ясного утра показался. Вот что значит друг-то пришел!

Ночью встал я, посмотреть, как он дышит. «Спит,— думаю,— спокойным сном». А пощупал голову, так и руку отдернул: голова-то в огне,— ну, ровно железо в горне раскаленное!

Три дня и три ночи не отходил я от него, кроме как за дровами и за водой. Пот его такой прошибал, что рубаш-

ка то и дело сырела. Я бы и рад ему смену дать, да рубахи лишней не было. По три раза на дню снимал с него и сушил над печкой.

Трое суток не в себе был Алеша мой, очень не спокоен; иногда митинговать начинал:

— Все, кто жили в нищете,— кричит,— все на защиту своей власти!.. Зовет нас наш вождь... Ленин!.. Не сбивайтесь с дороги! Плохо будет тому, кто свернет с нашего пути!..

Революционные песни тоже пел. Собрания будто проводил в своей коммуне. Управляет работой, вспоминает о семье, воюет с белыми... И что только ни мерещилось ему. Вот и поди ты! Сам без памяти, а голова работает...

На четвертые сутки, помню, сидел я и все ожидал: вот-вот умрет. Может, думаю, хоть перед смертью будет в сознаньи; может, что-либо скажет жене передать в завещание. Лежит, как белый лист, еле-еле дышит и чуть шевелит губами. Затих, видно, от горячки. Руки, как щепки. Уж я, каюсь, скрестил их ему на груди-то: все равно, думал, понадобится, не жилец ведь. А он, гляжу, под вечер очнулся, задвигал рукой, попросил пить.

Захар-дядь замолк.

Долго пришлось мне ждать, пока он заговорит снова. По выражению его лица и глаз было ясно, что Захар-дядь прервал свой рассказ не для того, чтобы вспомнить что-то забытое, собраться с мыслями, оживить в памяти подробности этой встречи с Алешей. У него ничего не забыто. Но, видимо, хотелось ему из пережитого передать мне только самое главное, и вот сейчас он выбирал это главное. Я ждал. Молча следя за его движениями, пытался я представить себе его переживания. Но это было трудно.

Меж тем в большом чугунном котле уже закипел суп из тетерева, от которого по избе пошел аппетитный запах. Как бы оправдывая перерыв в рассказе, Захар-дядь на

черной, задымленной сковородке начал печь блины, затем вынес их на наружную полку, чтобы остыли; у нас блины едят холодными. Затем, не спеша, снял с тагана котел с супом, до краев долил холодной водой и снова сунул в печь: «пусть-де еще немножко поварится мясо». Принес к ужину большую чашку, полную сухарей. Жду, что вот-вот сядем за стол. Знаю: самый большой и лакомый кусок тетерева выделит Захар мне, а из десяти выпеченных блинов бóльшую половину, опять-таки, отвалит на мою долю. После ужина на лучшую подстилку и к самой стенке, где теплее и безопаснее,— не упадешь,— уложит меня, а сам ляжет с краю. Все это кажется таким обычным в здешних условиях; все это так и должно быть, а не иначе. Хотя с Захаром мы встретились впервые в жизни, но ведь я гость, а таковы законы гостеприимства в коми-парме.

— Тебе-то чтó до его слов! — по-отечески ласково кивнув головой в мою сторону, продолжал Захар.— Ведь не знаешь ты даже, кто он такой и был-то. А он коммунист был! На милостынях вырос, а очень уж способный оказался: в больших городах, в каких-то больших каменных школах обучался. И хотя ученый человек, но не за богатых пошел после переворота. Да и до этого, видно, не за них был. Первым коммунистом стал среди коми, коммуну организовал в своей деревне... Вот каков был покойный Алеша!.. Потому ведь и в лес ушел, что белые его искали, не то что ты: сам не знаешь, небось, зачем шляешься!..

В тот вечер приготовил я ему, кажется, все, что за душой было: суп сварил, тетерку зажарил, блины испек. Перед иконой свечу восковую зажег... Да ты не ищи, иконы теперь нет! А от свечи, знаешь, и запах какой-то особенный, да и в избушке светлее. Было тогда о чем вспоминать! Ты вот человек образованный, а кто тебя знает, как ты меня, простого мужика, и слова мои про-

стые, мужицкие, понимаешь. Может, и понимаешь, да все что-то молчишь. А ведь я тогда от смерти его вырвал! И какой же он крепкий был! Только что встал, еле сидит, а уже смеется.

— По какому,— говорит,— случаю эти восковые свечи горят?

— По случаю твоего выздоровления, Алексей Иванович! Да и перед окончательной победой над белыми...

Стал он поправляться. Начал я выходить на охоту, оставляя его домовничать. А он, бывало, к моему возвращению и дрова заготовит, и пищу сварит, и избушку уберет. Весело так! Даже в лесу не хочется подолгу оставаться,— раньше обычного возвращался я в избушку к нему.

— Сколько белок? — начинает он выспрашивать меня.

— Пять белок и одну куропатку.

— А «двуногого зверя» не примечал?.. Следы, может?..

— Не примечал. А что?..

— Ничего, тем лучше.

После ужина ложимся рядом, и до полуночи он мне все рассказывает: как образовалась земля (учителем ведь был!); почему существуют на земле бедные и богатые, кто такой был Маркс. До него про Маркса я и не слыхивал, да и про Пушкина, Александра Сергеевича, тоже не слыхал,— знаешь, небось, про такого? Травили, говорит, такого умного человека почем зря; с государем, вишь, не дружил он! О многом рассказывал Алеша.

— Жизнь,— говорит,— со временем будет куда лучше и веселей! Не будет тогда ни бедных, ни богатых, все будут равные и все в полном достатке: трудиться каждый будет по мере своих сил и способностей.

— Да, скоро ли,— спрашиваю,— такая жизнь-то на нашей земле настанет?

— Как,— говорит,— победим мы богачей-кровопийцев на своей земле, так и начнем строить эту жизнь. Хозяева

страны будем сами,— потому и половина тяжести снимется с наших плеч, как только окончим войну.

И видно теперь, что правду говорил он: ведь вот она, эта заветная счастливая жизнь-то! Для всех трудящихся, гляди, теперь она наступает!

— В том числе и для вас,— вставил я.

— А что ж? И для меня. И я живу хорошо: недостатков ни в чем не испытываю,— словно бы сердито буркнул Захар и продолжал свой рассказ:

— Два раза я нарочно, как бы за припасами, выходил в деревню: разузнать о движении белых и прикинуть, долго ли эти незваные гости продержатся в наших местах. После моего возвращения Алеша оба раза становился задумчив и грустен.

— Не горюй,— говорил я ему,— белым скоро крышка будет. А домашние твои, слыхать, ничего еще живут: только что корову забрали. Ну, забрали и пусть! Лишь бы ты сам и семейство живы остались.

— Да как же,— говорит,— крышка-то будет белым, когда поодиночке скрываемся в лесу, надеясь на кого-то? Так со временем всех нас поодиночке словят и расстреляют, как собак, либо в прорубь пустят! Нужно бороться, а не скрываться! Какие,— говорит,— после этого мы коммунисты?

Пытался уже я по-всякому, под всякими предлогами старался удержать его здесь. Втайне думал продержать в этой самой избушке, пока белых прогонят, хотя бы даже целый год прошел. Ведь убили бы они его,— знал я, заранее знал! Обещался для Алеши моего построить невдалеке отсюда тайник, вроде землянки. «Построю,— говорю,— и следы замету!» Да нет! Ушел.

— Спасибо,— говорит,— тебе, Захар-дядь, за твои обо мне заботы. Но, мы,— говорит,— люди не из таких, чтобы в такую горячую пору где-то скрываться! За советскую власть много лучших из лучших людей погибло в

борьбе, и их,— говорит,— места на передней линии борьбы нужно заполнять новыми борцами... И я иду туда... Но только до этого мне нужно с семьей повидаться...

— Ты уж хоть домой не заезжай! — предупреждал я его.— Попадешься! За вашими ведь следят!

Последнюю ночь мы с Алешей вовсе не спали. Я до свету рассказывал ему самые интересные, какие только знал, сказки. Всю ночь, не смыкая глаз, слушал он мои рассказы и задорно смеялся. А утром, как только начало светать, оделся и ушел. Где уж там удержать его было, не маленький ведь! Проводил я его километра два до просеки.

— Иди,— говорю,— что ж поделаешь! Только не попадайся: очень будет обидно, коли попадешься.

— Ничего,— говорит,— ничего, Захар-дядь! До Ледовитого,— говорит,— океана прогоним эту нечисть, да там и утопим. Очистим земную поверхность от всех гадов, чтобы трудящимся лучше на ней жилось!

Чуяло, должно быть, сердце: слезы показались на моих глазах при этих его словах.

Ушел. Уже на порядочном от меня расстоянии остановился, повернулся ко мне и помахал красным платочком: прощался.

Два дня я был, как убитый. Выходил в лес и все возвращался ни с чем. Прихожу в избушку,— и она пустая! Не спится, не естся. Словно бы и избушка не та, и лес — не лес, и жизнь — не жизнь. Лишь собака была собакой. Глядишь, как я угрюм да молчалив,— так и она так же: вместе со мной скучала.

Начну ее, бывало, ласкать, гладить, щекотать между ушами,— а это, знаешь, особенно нравится собакам,— так и забуду про все. Даже каменка иной раз так и догорит — впустую истопится.

На третий день, с Мильтоном вместе, наспех собравшись, отправился я было домой, в деревню.

«Да нет, зачем,— думаю,— мне домой, когда по просеке можно прямым путем попасть в Помоздино? Ну, дошли мы, зашел к одному знакомому. Он знает Алешу: лишь пять километров от Помоздина до ихней деревни Скородум, да и кто вообще не знал Алешу в верховьях Эжвы? Зашел, а спросить о нем не смею: у них, у знакомых-то моих, видишь ты, оказывается, штаб белых поместился. Вечером пришли. Пьяные, кричат, пляшут, хвастаются:

— Сегодня,— говорят,— опять одну красную сволочь поймали! Долго уже за ним следили бесполезно, наконец пришел такой-сякой! Своими ногами, как вызванный, домой явился, к жене. А наши-то круглые сутки там дежурили. Конечно, не солдаты в шинелях,— местные! Там у нас Григорий Михайлович есть,— такой, поглядишь, бесхитростный мужичок, а до того ловко организовал разведку, что, появись в любое время и в любом месте эти беглецы, мигом в наших руках будут, не уйдут!

«Вот как!» — думаю...

Захар-дядь сбился со своего повествовательского тона. Не выдержало, видно, старое сердце безнаказанности предателя. Волнуясь, обернулся он ко мне.

— А ведь и до сего времени жив злодей-то этот! Чуть ли в колхоз не пробрался! Насилу добились того, чтобы его посадили по-настоящему!

Но мало того! Вячеслав, белобандит из Мылдина [48] — этот еще почище! Служил добровольцем у белых и сам прикончил Алешу — первого коммуниста в верховьях Вычегды. Так этот Вячеслав, знаешь, еще долго был на свободе и на станционных лошадях разъезжал по Вычегодскому тракту от Мылдина до Сыктывкара и обратно...

И вот тут-то, во время поездки на одной станции, случайно и встретился он с женой Алеши. Та по лицу опознала убийцу, справилась об его имени и должности по станционной книге и заявила властям. Молодец баба! Ну,

тут его и забрали. И чего это их всех не расстреляют,— не понимаю!

— Вы бы расстреляли?

— Я? Да я,— расставь их за двадцать пять шагов рядом и скажи мне: стрелять,— так из этого моего ружья каждому из них дам по пуле в левый глаз!..

— Пока ты снова зарядишь, другой уже сбежит.

— А я его топором! От меня, брат, далеко не убежит! Да и вновь зарядить, что за задержка? Самое большее на четверть минуты!

— Ну, вот,— продолжал старик.— Так вот этот самый Вячеслав тоже там оказался, в штабе-то. Красный весь, с опухшим лицом.

— Моя,— кричит,— теперь очередь вытряхнуть его поганую душу! — Так разъярился, так вскипел, что даже кулаком об стол ударил.— Я,— говорит,— по этому мерзавцу ни одной пули не израсходую, своими,— говорит,— руками задушу, шею сверну, как у слепого щенка, голову разобью. Лишь тогда спокойно у меня будет на душе!

На другой день утром зашел я в управу [49]. Сторож там был знакомый, добрый старик. Расспросил я его. Действительно, как я догадался из слов белых, был арестован Алеша. Вчера только привели из дому. Говорят, во время ареста была у него ручная бомба, но, жалея свою семью, он ее не бросил. Хотел я поглядеть на друга моего, да у двери чижовки [50] стояли на карауле два солдата.

Скоро после меня пришли еще несколько солдат с начальником. Вместе с ними и этот Вячеслав. Вывели Алешу. Мы встретились с ним взглядом, и — что бы вы думали?! — он этак-то чуть улыбается мне: прав, мол, был ты, Захар-дядь, и верно говорил мне, чтоб не ходил я домой!

Ну, как увидел я его, обо всем забыл, крикнул что-то, на кого-то набросился,— Алешу, значит, вырвать хотел, но тут из моих глаз от удара посыпались красные и си-

ние искры, и рухнулся я меж чьих-то ног. А очнулся уже в арестантском помещении. После этого нас пешком погнали до низовьев Печоры. Много арестованных умерло от морозов и голода, еще больше людей расстреляли на наших глазах... А вот я, старик, каким-то образом жив остался,— как видишь, еще и поныне бодрствую.

— Эх, вы!.. Молодой человек!— вдруг оборвал свой рассказ Захар.— Хоть бы портянки-то высушили бы! Ведь наверняка все мокрое. Вставай-ка, поужинаем! Я тетеру сварил, да и вчерашнее мясо еще есть... По случаю Октябрьского праздника вчера глухаря целиком изготовил. Уж очень уважал покойный Алеша мясо молодого глухаря... Нет,— говорит,— вкуснее этой дичи на свете!

Подходя к столу, я заметил вырезанные ножом буквы: «А. И. Ш.» и ниже — «1919 г.».

— Это от него осталось,— сказал мне Захар-дядь.— Вот прочти-ка: «Алексей Иванович Шомесов» [51].

ВЫЛЬ ПАШ

ПОД СТАРОЙ ЛИСТВЕННИЦЕЙ

В том бору, где к паре пара
Сосенные жилы,
Есть под лиственницей старой
Славная могила.

Тут когда-то ветры дули
Запахами боя;
Тут когда-то пели пули
Северной пургою.

В ночь метельную мы встали
В году знаменитом:
Этот бор мы с боем брали
У белобандитов.

В чаще выстрелы гремели;
Распадалось в клочья
От свинцовой карамели
Сосен узорочье.

А к рассвету тихо стало.
Только болью нашей
Ния[52] старая стонала
Над телами павших.

Только холмик ноздреватый
Встал средь снежной пыли:
Тут, в ту ночь, бойца и брата
Мы похоронили.

Завещал он, жизнь любивший:
«Если пуля срежет,
Закопайте труп остывший
Ближе к нии снежной!»

В зимнем воздухе хрустальном
Отдали, тоскуя,
Залпом дружным и прощальным
Почесть боевую...

Так в бору, где к паре пара
Сосенные жилы,
Под ветвями нии старой
Выросла могила.

Пал боец. И много пало
В ногу шедших с нами,
Чтобы родина сияла
Светлыми огнями.

Гасли многие закаты,
Не считаю дни я:
Сторожит могилу брата
Лиственница — ния.

В том бору я нынче снова.
Мимо меты кровной
Я веду коня стального
По дороге ровной.

Надо мной, в небесном ситце,
Лиловатой зыбью
Держит путь стальная птица
В новый город Чибью[53].

Спи, мой брат, боец наш смелый!
Мы крепки и стойки,
Мы твое закончим дело
На великой стройке!

В том бору, где к паре пара
Сосенные жилы,
Есть под лиственницей старой
Славная могила.

ТИМА ВЕНЬ

ТРИПАН ВАСЬ

... В этот год весна пришла на север рано.... Рано появились и травка и озимь, как будто знала природа, что народ голодает, и торопилась скорее помочь...

Уже лето наступило. Приближается страда...

Трипан Вась [54] вышел на поле и обошел его кругом, осматривая засеянные полосы.

Ссс-ссс-ссс...— шелестят, отзываются на полях колосья, подают человеку надежду на хлеб. Кланяется рожь, шепчет ячмень, обещает вкусную похлебку...

«Ах ячмень, длинноусый ячмень! И часто же ты обманываешь нас! Иногда ты с четверть длиной, а иногда и свалишься: туловище свое не сможешь сдержать. Через каждый год обмерзаешь, не успеваешь дозреть... Сколько иную весну навозу вгонишь в тебя, торфом стущаешь, да и чего-чего только крестьянин не навезет на пашню для тебя,— хоть самую землю, как толокно, ешь... Капризник ты, и больше ничего! Вот с тобой рядом рожь стоит,— удобрения на нее меньше половины твоего идет, а растет же, ничего не говорит...» — так размышлял Трипан Вась, обходя, осматривая ячмень и рожь, и тут же обещал самому себе расширить расчистку под рожь.

Никто еще тогда и не брался за косы да грабли, а Трипан Вась уже поднялся вверх по реке сено ставить.

— Поеду! Пока еще вблизи не ставят сено, я, глядишь, хоть несколько возов там уберу, — сказал Вась своим домашним.

А в голове еще и другое было: уже несколько месяцев Вась хранил втайне от домашних около полупуда семян ржи,— надо же было их где-нибудь использовать, чтобы сеять на подсеках [55]. Тогда ни у кого ничего не было, да и самые подсеки не были расчищены, а на полях засев предполагали вести уже из нового урожая. Если у кого с осени и были семена, то их давно уже успели съесть. Разве можно в голод терпеть?

— Вы пока дома веники режьте, а я тем временем успею обратно приплыть,— говорит жене Вась.

— Ну, плыви, если можешь... Я не держу... Только вот нет ничего тебе на дорогу положить... Чем же ты будешь питаться? У нас ведь даже на приварок нет ничего,— ни крупы, ни муки.

— Приварок в воде,— промолвил Вась.— Положь, что есть, чего нет — не прошу. Разве не знаю, что ничего нет?

Уложила жена в пестерь [56] пихтовых лепешек [57], налила в туисок [58] молока — и больше ничего. Взял Вась котелок, оселок, косу и топор.... Взял еще полведерный туис.

— На что тебе такой большой туис?— спросила жена.

— А рыбу-то класть? Вам гостинец привезу,— как бы оправдывался Вась.

За один раз все вещи очутились в лодке. Проскрежетала она по камням и спустилась к реке. Сел в лодку Вась, поплыл..

Ни звука кругом. Не мелькают косцы вдоль реки, не видно ни скошенной травы, ни зорэдов [59].

— Куда ты собрался, Вась? Неужели сено ставить в такую рань?— спросил кто-то с высокого берега. А у Вася ответ заранее припасен:

— Да так...— протянул он.— Бересту надо содрать, да заодно хочу пожни осмотреть, если доплыву...

Лишь несколько чомкостов[60] успел Вась подняться, как солнце уже снизилось. Пришлось заночевать. Остановился у избушки. Поднялся на берег. Первым делом развел огонь — защиту от комаров. Нарубил палочек из ивы, затянул полог.

Летом в избушку тот, кто на лодке плывет, не зайдет,— разве уж что пойдет очень сильный дождь. А то непременно заночует снаружи, в пологе. В избушке клопы да комары не дадут уснуть. Зимой — другое дело: тогда в избушке хоть и негде повернуться, но тридцатиградусный мороз поневоле загонит в одну избушку человек двадцать-тридцать проезжих; и тесноты и клопов — тогда всего натерпишься, лишь бы руки-ноги отогрелись... Зато летом жить в лесу одно наслажденье, тогда только и старайся наверстать потерянное, торопись дышать чистым воздухом.

Сидит около костра Вась, ужинает,— пихтовые лепешки покусывает, в дыму прячет лицо от комаров. Вась не обижается на укусы насекомых, знает он: без них тепла не будет, а без тепла ничего не уродится.

«Много оводу и комаров — к хорошему урожаю» — его старая примета. «Ну, и кукование кукушки тоже: если долго кукует она — хороший год, лето будет длинное, хлеба успеют созреть»,— так размышлял Вась. Кончил есть, уменьшил костер и, кряхтя, полез под полог. Но долго не мог уснуть, все думал, думал.

Вась был еще не стар, но тяжелая жизнь как-то рано состарила его; ослабевать стал в последние годы. «Куда это все силы теряются? На какое расстояние раньше в один день подымался, а теперь, гляди, суток трое уйдет!»

Вась — человек трудолюбивый, но богатство не шло к нему, жил он бедновато. На работе от людей не отставал: всю жизнь трудился, не зная отдыха; расчищал пашни, луга, охотился, сортовку возил...

Семья у него была — два сына и три дочери.. Две старших давно уже замужем, третья, пятнадцатилетняя,— дома. Старший сын где-то в Красной армии, а младший, семнадцатилетний, прошлой зимой на Печоре попал в плен к белым,— в извозе захватили и его, и лошадь...

Остался Вась и без работников и без лошади...

Своих детей Вась воспитывал ласково, не кричал на них особенно. «Пусть себе поиграют да погуляют в свободное время, ведь в молодости только и жить человеку». Но лености в работе не любил Вась. «Если уж сделать, то сделать надо хорошо, а не мимоходом»,— вот и все его нравоучение в таких случаях. А заведут мужики, бывало, разговор о жизни при Советской власти, так Вась только и скажет: «А, может, так и надо?.. Молодежь, небось, устроит для себя, как им надо, а наша жизнь уже прожита...»

Своим сыновьям Вась не препятствовал тянуться к новой жизни, не старался тянуть их к старому, ничем себя не проявлял ни перед богом, ни перед царем. Да и кто его знает, верил ли он вообще-то в поповского бога? По-настоящему крепко Вась верил только в своего бога: «без работы сыт не будешь»...

Два дня пришлось подниматься Васю. Лишь на третий день доплыл он до своей пожни. Все по-старому, ничего не изменилось. Только толстая ель в два обхвата, которая стояла на берегу, весной свалилась в воду. Раскинулась во всю реку. Бурлит через нее вода, как в запруде; много ее набралось.

«Хорошее место для рыбы устроилось!» — подумал Вась.

Причалил. Разгрузился. Поднялся на берег. Отбил косу и начал косить. В тех местах, куда солнце не попадает, трава долго не сохнет. Придется ему несколько дней обождать.

Не широки и не гладки пожни в верховьях наших

рек. Нельзя назвать даже их и пожнями,— разве что расчистками. Узкопоемны верховья рек. И с той и с другой стороны вдоль реки — горы. Как по жолобу, течет меж ними вода. Лишь изредка отдаляется гора от реки, и тотчас же снова сжимает ее русло. Где ж там косить?

По склонам гор сделаны небольшие расчистки,— там и ковыряются люди, собирая траву. В одном месте — копна, в другом — две, а зорэды в два-три воза очень редки. Ставят копны лишь потому, что здесь сено хорошее да и доставка дешева. Сплавляют плотами и заодно получают и сено и дрова.

До паужина косил Вась. Под вечер у пожни поудил немного, наловил себе на уху. Ужинает Вась, хлебает уху, закусывает пихтовой лепешкой.

«Ох, если бы еще хоть ложку крупы да щепотку соли!»— с горечью подумал Вась и посмотрел на туис с семенами.

«Нет,— сказал он себе,— семена не трону... Грешно съедать последнюю опору».

Даже и одного зерна не тронул.

Взял в руки туисок, долго смотрел, пропускал сквозь пальцы семена. Золотом полилась и покатилась в туис между пальцами рожь... Закрыл поплотнее и поставил в изголовьи под полог.

На другой день Вась начал искать место под посев. Пальник был нужен ему, «сухой лес».

Выбрался Вась из лесу на полянку старой подсеки. Возвышенность. Кругом далеко видно. Остановился и долго рассчитывал в мыслях.

«Вот кабы теперь это распахать да на один год оставить под пар,— хороший бы урожай получился!.. Но где уж сюда с сохой приехать! Слишком далеко от дому...»

Размышляя так, двинулся Вась дальше. Прошел около версты и дошел до пальника. Пожар здесь, видимо, был недавно, недели две тому назад,— Вась еще дома слыхал

про этот пальник. До пожара там росла лиственница, вперемежку с елью. Почва была покрыта густым мхом. Когда-то здесь заготовляли сортовку-лиственницу. Толстые пни в два обхвата стояли кругом, и под деревьями было много сухих сучьев,— поэтому кругом все обгорело дочиста.

Обошел Вась пальник, поискал, где толще слой пепла. Ходит — ступня проваливается в пепле. «Хорошо!» Остановился. Оглянулся, рассчитал глазами.

«Ох, если б побольше семян сюда,— был бы с хлебом крестьянин»,— вздохнул Вась.

— Да, немного места займет мой туис семян,— с горечью прибавил, еще раз прикинув площадь пальника.

Начал он расчищать, собирать вершины; некоторые деревья рубил и сучья складывал в костры. Жарко, оводы мешают, пыльно... Но Вась как будто ничего не замечает. Работает, а у самого по лицу пот грязным ручейком льется, капает, поливает землю. Отдохнет немного и опять за работу. Каждый раз, когда наклоняется, желтые звезды перед глазами разбегаются, голова кругом идет, едва не падает. Уже поздно спустился на пожню к шалашу.

Наутро при росе сначала покосил, потом опять поднялся расчищать. Проработал до паужина.

«Больше, видно, не смогу!.. Да уж и довольно для моих семян».

Густохвойной елью поковырял пепел, смешал с землей.

Сеет. Линиями редко бросает, сквозь пальцы зерно пропускает, чтобы не в куче было, ни одно семечко зря не кинет. Сеет и себе под нос бормочет, словно молится:

— Рости-выращивай, мать-земля!.. Светлое солнышко, пригрей-пригляди!..

Зарыл семена. После посева снова перемешал землю,— заборонoвал вроде.

Вечер. Скрылось уже солнце. Появилась обильная роса. Ожили кукушки; утолили жажду после жаркого дня, и

перекликаются самки с самцами. За ними гонится, откликаясь, эхо. Где-то в траве близко от Вася крякает утка, сзывает своих утят из лесу, из потайных мест выводит на реку учить плавать... Отдыхает, сидит Вась. Сильно устал сегодня! Но на сердце легко. Выполнена задача, закончено желаемое: семена использованы, запрятаны в хорошем месте...

Но сидеть без дела Вась не умеет: все что-то копошится, делает, будь это дома или где угодно. Вот и теперь, отдыхая, возится с берестой, выделывает туисы и чуманы [61] — красивые, как игрушки, серебряные сверху, золотые внутри посудины. Каждый в Коми знает значение этой берестяной посуды.

— Туис всегда пригоден,— говорят в Коми,— хоть дома, хоть в дороге, а лучше посуды не найти! Чего только нельзя хранить в нем? Не гниет, не ржавеет, и конца ему нет.

Долго не мог уснуть в этот вечер Вась. Лежит под пологом, думает, везде летают мысли. Сыновья вспомнились.

«Где-то находятся, сердечные? Живы ли? Вернутся ли когда-нибудь?..»

Болит сердце за них, беспокоится. И работает и трудится Вась — все для того, чтобы им лучше жилось. Вот и теперь он посеял, думая о них:

«Ведь вернутся же, надо будет поесть им что-нибудь!..»

Ночь. Перестали чирикать птички. Все затихло. Только где-то высоко в бору еще долго пел-разливался лесной житель — клест, да не утихая журчала вода на быстрине.

Лишь к восходу солнца забылся, заснул ненадолго Вась.

Два дня после того еще пробыл он на пожнях: собирал сено в небольшой зорэд, поднимался в березовую рощу за берестой для туиса, сдирал в парме пихтовую кору — целых три охапки снес в лодку...

Под конец совсем выбился из сил. Три дня уже не

ходил он по своей надобности — желудок стал каменным, ни сесть, ни лечь не может, ноги распухли, как колоды.

— Что делать!.. Придется, видимо, плыть,— сказал он и стал укладываться.

Лодка полна груза: пихтовая кора, береста, несколько берез для вил, только рыбы мало, на один раз сварить, не больше. Некогда было удить-то ему! Но, может, и не будет ругаться жена, простит, когда скажет он ей о посеве...

Так размышлял Вась, укладываясь. Сел на корму, оттолкнулся от берега. Грести он уже не мог, только весло в воду спустил и шевелил им изредка, управляя лодкой. «Вода донесет»,— промолвил. С лодки еще в последний раз кинул взгляд на свою пожню, как будто прощался с результатами труда рук своих...

Вычегда быстротечна, несет быстро. Доплыл бы Вась до дому, если бы выехал накануне. Да не тут-то было. Половину пути только проплыл, как жестоко схватила Вася болезнь, а в лодке даже растянуться негде.

«Остановлюсь,— хоть поваляюсь на земле, может, полегчает»,— думает.

Остановился. На коленях добрался он до ели и не смог даже лодку повыше поднять, только за иву привязал. Хотел от комаров дымник развести и тоже не смог. Валяется, мычит под елью, не чувствует, как комары кусают. Одна мысль в голове: как бы домой добраться?..

Не добрался до дому Вась... Так и заснул под елью. Наконец-то смогли отдохнуть его усталые руки и ноги. Под елью родила его мать, когда расчищала подсеку; под такою же елью он и умер...

Так и умер человек, никем не замеченный; не плачут около него любимые дети, не плачет жена... Отпевали его только гудевшие около него под елью комары, да над самой головой с вершины ели печально куковала кукушка, точно пересчитывала прожитые им лета...

На другой день соседи Вася, поднимавшиеся на лодке, остановились близ него; смотрят: полная лодка на привязи качается...

Поднялись под ель. Видят: холодный труп, вспухший, синий... Не пришлось разгадывать, отчего умер Вась. Печально посмотрели на лодку. Один вздохнул:

— А «хлеба»-то полная лодка!..

Прошли лето и осень... Пришла после них и зима. Покрыла небо и солнце грязной занавесью, а землю белым гробовым саваном.

После голода посетили крестьян еще более горькие, черные, как смола, печальные дни... [62].

Но вернулась весна, стаял снег, стаяли с ним и белые. Освободился народ коми, освободилась и вся Советская страна. Весной, с южным ветром, прилетели с теплых морей на север птицы, приехали домой и сыновья Вася.

...В гуще леса, на небольшой полянке, между высоких черных пней, зеленеет длинностебельная рожь... Шумят кругом хвойные деревья:

— Ш-ш-ш... ш...

Но у опушки из шума леса победно выделяется другой, более тонкий, нежный звук:

— С-с-с... с-с-с...

Это результат последних усилий Вася, плоды покидавших уже бедного труженика сил. Кланяются под ветром колосья длиной с четверть, как бы вспоминая эту тихую, неяркую, незаметную жизнь, как бы благодаря за незаметную, но нужную работу того, кто посеял их здесь на этом одиноком пальнике.

ТИМА ВЕНЬ

У МАВЗОЛЕЯ ЛЕНИНА

Москва — сердце СССР,
Кремль — сердце Москвы,
Мавзолей Ленина —
Сердце трудящихся всего мира.

Красная площадь в Москве
В сумрак вечерний одета.
Вдруг вместо солнца на небе
Тысячи электросолнц
Разом зажглись над Москвой,
Словно рассвет.

Красная площадь.
Траурный вечер
И тишина.
Дремлет она,
Слушая пульс
Грохота жизни
В городе, ставшем столицей
Всех пролетариев мира.
Стены Кремля
Вздыбились в небо,
В зарево города, в тучи...
Красный кирпич

В землю осел,
Мохом обросши в веках.
В зубьях замшелой стены
Кремль величаво хранит,
Тени глубоко тая,
Складками древних морщин
Старые были страны.

С первого взгляда
Все, как и было
В прошлых веках..
Да!
Готика башен,
Жерла бойниц,
Медные глотки
Колоколов
В пастях звонниц...
Пусть!
Но мы знаем:
Это — мираж!
Это — лишь тени
Прогнанных лет,—
Мрачных, проклятых
Прогнанных лет!
К прошлому тени
Нас не вернут!
Глядя на них,
Мы ненавидим
Крепче былое,
Крепче мы любим
Новые дни.

Вот он, позорный,
Подлый свидетель
Царской расправы

В дни лихолетья:
Вот оно черное
Лобное место!
Кровью народной,
Кровью свободы
Эти ступени
Царь поливал.
В мраке столетий
Через туман
Вижу, как всходит
К плахе кровавой
Разин Степан,—
Гордый мужицкий
Атаман.
Да, тяжела
Доля была
«Мужиков», ставших
Вдруг мужика́ми[63]
И потерявших
Людские права!
Только Октябрь наш,
Взвивши победное
Красное знамя,
Петли распутал,
Цепи порвал,
Рабство стряхнув
С плеч человека.

Дальше — другой
Памятник старый:
Князь-воевода поджарый,
Медный Пожарский сидит.
А за ним,
Руку простерши к кремлевским твердыням,

Медным перстом своим
Минин
Впился в туманную даль,
Словно сквозь сумрак веков,
Через бояр и царя,
Через ярмо и оковы, короны,
Видит зарю Октября.
Словно из призрачной тьмы
На мавзолей Ильича
Смотрит, тревожно шепча:
«Мы —
Больше не мы.
Мы — только дым
Плесень и тени.
Будет вождем мировым
Ленин!»

Красная площадь народом полна.
Тут не народ,
А народы!..
С улиц идет за волною волна.
Алое пламя знамен
Вьется над морем голов.
Нет ни конца им, ни края.
Море людское молчит.
Тишина...
Тысячи,—
Нет! Миллионы,—
Все, как один человек,
Замерли.
Тихо стоят
И молчат
В ожиданьи.

— Кто вы?
Откуда собрались к могиле?
— Мы?
Мы — со всей необъятной земли,
Мы делегатами от угнетенных
К этой великой могиле пришли.
Мы — с азиатских горных отрогов,
Из африканских лесов
И песков,
Из европейских столичных предместий.
И из заморских краев.
Люди всех рас собрались вместе,—
Всех четырех цветов.

— Кто же вам тут
Родственно близок?
Кто он вам?
Мать?
Отец?
В память кого
В ритме едином
Бьются мильоны сердец?

— Нет, он — тот, кто человека
Разбудил в рабах;
Кто своей железной волей
Заглушил в нас страх;
Кто своим могучим словом
Вел нас в бой всегда,
Кто нас сделал друг для друга
Братьями труда;
Тот, кто бытие людское
Всколыхнул до дна,
Кем Октябрьская над миром
Зажжена весна;

Кто заветы правды новой
В мысль народов влил,—
Тот, кто красное под миром
Солнце запалил!

Как в веках, давно минувших,
К предку рода на курган
В вешний день сходилось племя,—
Так теперь в единый стан
Все трудящиеся мира
Тут слились сейчас.
Племя мы одно!
Но имя
Новое у нас:
Имя это
Он нам завещал!
Имя нам —
Интернационал!

«Тринь-тринь-тринь...
Брень»...
С башни кремлевской бесстрастно
Колокол древний в толпу отсчитал
Восемь часов.
Кажется, восемь веков
В бездну упало...
За ним
Звоном стали
Взмылся в дали
Наш великий гимн.
Рвался в небо
Неуемный
Пролетарский зов:
«Вставай, проклятьем заклейменный
Весь мир голодных и рабов!..»

Сердце, как туча,
Сердце, как море,
Ливнем и пеной
Рвалось наружу.
Но затаили мы
Слезы глубоко:
Горе большое
В слезы не втиснешь!
Ленину — слезы?
Он — утвержденье
Творческой радости,
Жизни рассвет!

. . . . . .

Тихим шагом
Стройно в ногу
Мы к могиле зашагали.
Здесь лежит наш вождь великий,
Старший брат,
Товарищ славный.

Ночь...
Над ВЦИКом красный флаг,
Полыхая, как зарница,
Вьется огненною птицей,
Манит в небо ум и сердце,
Молнией врываясь в кровь,
Возвращает юность телу
И зовет,
Зовет нас к делу,
В бой,
К победе вновь и вновь!..

Воздух над городом
Светится ярко,
Словно эфир

Запылал в вышине.
Так же в тайге нашей,
Если пожаром
Вспыхнут столетних
Сосен стволы,
В небо тогда,—
В самые тучи,—
Вьются столбами
Пожара лучи.
Так же играют,
В пляске порхают
Яркие искры
В кручах небес
И, полыхая,
Так же багрянят
Край наш зеленый,—
Коми наш край.

— Стихло?
— Нет!
Шумы дня
Шумы полночи
Сменяют
У Кремля.
Словно рупор
Необъятный
По эфиру
Льет сюда
Все звуки мира.

Днем Москва —
Как муравейник.
Днем работа
Непрестанно
В ней кипит.

Ночью город —
Шар огромный,
Искры сыплющий
В пространстве
Огненный электрошар.
Он в эфир бросает молньи
Башнями радиостанций.
Речи пламенные,
Вести,
Радость песен рассыпает
И сокровища науки
На восток
На юг
На запад
И на север наш таежный...
По всему СССР
Ловят молнии мильоны
В городах,
Колхозах дальних,
До зари переживая
Жизнь Страны Социализма
Вместе с Красною Москвой.
И всю ночь поют, как трубы,
И бросают в ночь призывы,
Контролируя друг друга,
Паровозные гудки:
«У-у-ук!»
«Эн-у-у-узь! [64]»
И несется заглушенный
Поездов далеких гул.
. . . . . .
Так проходит синий вечер,
Так и ночь смежает очи.
И цветет восток заоею.
И из зорьного пожара

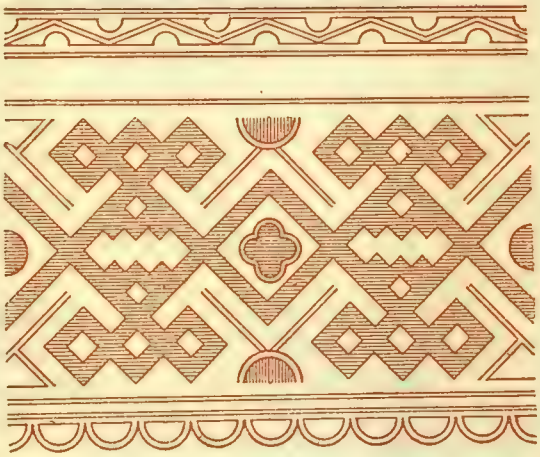
Выплывает в небо солнце
Из-за леса
Труб и башен.
Дым вздымается победно
В небеса навстречу солнцу,
Призывая люд рабочий
К делу чести,
К делу славы,
К делу доблести,
Геройства,—
Как сказал великий
Сталин.

Слышишь?..
Проснулись
Сереброкрылые
Наши стальные
Птицы-орлы.
«Ж-ж-ррнь-нь!»
«Дз-зин-нь!..»
Небо буравя,
С аэродрома
К солнцу взлетают
Аэропланы...
Вспыхнул над городом день.

Неизменна
Эта смена
Дня и ночи
Над Москвой.
Неустанно
Бьется сердце
Необъятного Союза,—

Наша Красная столица,
Где покоится
Наш Ленин,—
Вождь,
Товарищ
И учитель
Всех трудящихся земли.

ЖИТЬ СТАЛО ВЕСЕЛЕЙ



МИХ. ЛИХАЧЕВ

ЛЕС ШУМИТ

Солнца таежного
Грудь золотая
Дышит над краем
Застывшей земли.
Спит она,
Светом скупым залитая,—
Парма, что море
В морозной пыли.
Дрёма качает
Стволы великаньи,
Чуток под утро
Оснеженный бор...
Этой глухой
Притаившейся ранью
Сосны чуть слышно
Ведут разговор.
Крепкие ноги их
Мрут под снегами,
В небо закинута голова.
Встань среди них —

С головой и с ногами,—
Будешь пылинкой,
Заметной едва!
Высятся,
Статью своей хорошея,
Пихты, одетые
В зимний покров;
Ели не гнут
Лебединые шеи
В непогодь злую,
Пред бандой ветров.
Так вот и дремлют
Таежные чащи.
Сон. Тишина. Ни души.
И в тиши
Кажется проще,
Бескрайней и краше
Наша лесная,
Могутная ширь.

Но, чу!
Скрипит
Певучий полоз,
И человечий
Слышен голос.
Шумит
И падает кора
Под ясным
Звуком топора.

Трак-к!
Уак-к!
Ток-к!
Уак-к!
Тука-так!
Туки-ток!
Уак-к!
Уок!

Пробужденные, запели
Пихты, лиственницы, ели.
Сосны гнутся
С дрожью в теле
На пуховые постели.
Сучья смяты; блеском ровным
Загулял топор по бревнам;
Белоснежны и светлы
Сосен голые стволы.

Ударной бригадой
Идут лесорубы,
И падают чащи
Со свистом и кряком.
Ударной бригадой
Идут лесорубы —
На лес, на чащобу,
Как будто в атаку.

— Эй, не ленись!
Живей сторонись!
Падает дерево —
Жжжи-ись!

Рубит бригада
Слева, справа.
Рубит, что надо,—
Честь ей и слава!
Снежною тучею
Каждый умыт...
Море,
Дремучее
Море шумит!

НЕБДИНСА ВИТТОР

КОМИ-МОРЕ

Песня

Я не видел в жизни моря,
Песен моря
Не слыхал;
Не видал,
Как в синем море
Набегает шквал на шквал.
В жизни я
Не видел моря,
Песен моря не слыхал.

Но одно я море знаю:
Коми-море,
Край лесной...
Без начала в нем,
Без края
Жизнь, встающая весной.
Я одно лишь
Море знаю:
Коми-море,
Край лесной!

Говорят:
Красиво море,
Если волны в берег бьют.
Широко разносит море
Песни волн
И ветра гуд...
Даже в за́тишь
В синем море
Зыби мертвые поют!

Чем же хуже
Мощь лесная,
Коми-море,
Наш простор,
Где, работу поднимая,
За пилой звенит
Топор?
Чем же хуже
Мощь лесная,
Коми-море,
Наш простор?

Говорят,
Что в синем море
Неизмерна глубина,
Бесконечна
В синем море
Белогривая волна?
Правда, что ли,
В синем море
Неизмерна глубина?

В нашем море,
В песне, в смехе —
За сосной

Летит сосна.
В золотом
Валютном цехе —
Жизни звонкая весна....
Эй, сильней
В задорном смехе
Пой, лесная сторона!

ЮСЬ

ПЕДЯ И РОДЯ

Басня

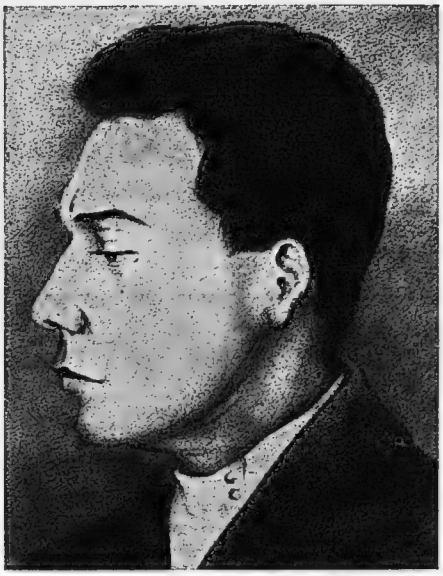
В одном селе друзья-соседи
(Один из них — колхозник Педя,
Другой — единоличник Родя)
При солнечной погоде,
Предметы нужные из дому взяв с собой,
В леса пошли на подвиг трудовой.
В бригаду оба там они вступили
И разузнали все насчет работ.
Велик ли план, об этом расспросили,
И как в бараке лесоруб живет.
При всем народе
Назавтра Педя молвил Роде:
— Здесь нам с тобой —
Как дом родной!
Ударникам почет и честь:
Здесь сахар, и табак, и чай в достатке есть...
Хоть целый век бы прожил здесь!
Барак, что дом: веселый, не холодный.
А в красном уголке на полках кипы книг.

Мы выберем часок-другой свободный
И многому научимся у них.—
Во-всю трудится Педя,
По десять кубометров ломит в день.
Но не таков по нраву Родя;
За Педей Роде гнаться лень.
Утрами долго он зевает с наслажденьем,
А к чаю часа два никак не может встать.
Не выйдет он из помещенья,
Пока не выкурит цыгарок двадцать пять.
— Мне,— говорит,— спешить не стоит,
Никто здесь золото в карман не сыплет мой.
К тому же вреден мне тяжелый труд такой:
Нутро мое болит и ноет,
Как колокол, клокочет грудь моя,
Когда ненастье чую я! —
Болезни Родю наполняют всклень,
И при любой погоде
Не может выработать Родя
И пары кубометров в день
(Хоть был он, к слову, крепок и здоров,
Как бык среди коров).
— Ты, Родя, ленишься немного,—
Однажды Педя вымолвил нестрого.—
Улиткою здесь ползать нам нельзя.
План нужно выполнить, в работе не скользя!
— Не мне доходы,— Родя рассердился.—
Чего себя мне изводить?
Сюда на то твой Родя заявился,
Чтоб день да ночь тихонько проводить! —
— Послушай, Родя, новый мир мы строим...
— И слушать не хочу!
И не прошу, чтоб ты учил меня!
Я знаю сам, каким итти мне строем,
Я сам любого жизни научу! —

— Да выслушай же...— Педя начал снова
И приготовился о многом рассказать.
Но Родя не дал молвить слова,
В досаде крикнул: — Нечего болтать!
Перед другими ты губами шлепай.
Тебя ж выслушивать мне, право, лень!
Что̀ я тебе? Сиди, ушами хлопай! —
И Родя убежал из лесу в тот же день.
Что вышло тут — понять не трудно:
Не нажил Родя ничего.
Не стало хлеба и одежды у него,
В бегах, как нищий, он питался очень скудно,
Ну, словом, сделался бескрылой птицей он
И государству причинил урон.
Колхозник Педя много не судачил:
Две нормы выполнив в лесу замест одной,
Он подружился с новою задачей —
Среди ударников
быть первой головой!

*

Где Педин дух среди людей витает,—
Жизнь новая там ярко расцветает.
Где, вроде Родиного, жалкие умы,—
Их просветить должны стараться мы,
Чтоб не было нигде отсталости и тьмы.



ПЕДЬ ГЕНЬ

ОДИНОКОЕ ДЕРЕВО

(В исловодье)

I

Кто первый дал имя этой реке, никто не знал. Вероятно, старые рыболовы или сплавщики. Но любит капризничать река Курья — просто беда.

В сухую пору она ничего особенного не представляет. Река, как река. Берега ее обросли ивой, густой и длинной травой, и вода течет меж них, как по выдолбленному жолобу. Обрывы над ней крутые, облизанные полой водой. Ну, а дождей Курья не любит. День-два подождет, а там и начнет скандалить. Вспенится, помутнеет и на глазах прибывает.

Такова она в дожди даже и в сухое время. А ведь теперь половодье. Лед только что успел уплыть вниз по реке. Курью теперь, пожалуй, и не узнать.

Только верхушки ив торчат из воды чуть заметными метелочками, дрожащими у берегов. Еще на метр с лишним прибудет вода, и вовсе скроются глинистые обрывы. Но надо отдать ей справедливость: редко, очень редко Курья выходит из берегов.

На эту-то своенравную Курью и пришли работать люди из починка [65] «Новое счастье». Их всего четверо: Алексей Гурьевич, Прокоп с сыном, тоже Прокопом, и Иван Пыста [66].

В день прибытия Алексей Гурьевич долго стоял у устья Курьи. Выше — запань [67]. Оцинкованные цепи, толщиною с запястье, как натянутые струны, сдерживают массу бревен. А дальше уже совсем не видать блеска игривой воды: везде лес, лес и лес...

В крутом водовороте вода мчится из-под запани, словно спешит куда-то, боясь, как бы не опоздать. А в самом устье Курьи что делается! Алексей Гурьевич бросил было ветку да так и не видел ее больше: схватило ее вдруг, скрутило, сунуло в образовавшуюся воронку и проглотило нивесть куда. Глядит Алексей Гурьевич в крутящийся водоворот, и крупные морщины складками собираются на лбу. Жизнь ему кажется таким же водоворотом. И не заметишь, как вдруг тебя схватит, закрутит и сунет на дно!..

Пробудившимся зверем шевелится река. Полоями раскинулась, грызет оттаявшие берега. Накренились, свалились в ледяную воду прибрежные деревья. У иных уже и верхушки в воде, а землей облепленные корни торчат вверх, словно судорожно расставленные лапы огромного зверя. У других вся кора у основания содрана,— это следы ледохода. И сохнут понемногу, смертной краснотой покрываются такие деревья. Велика сила полой воды.

В устье Курьи, на другом берегу ее, стоит ель. Быстрая вода размыла под нею почву и обнажила корни. Кое-как цепляется ель за землю, каждую минуту готова сорваться в воду, уже наполовину накренилась она и как будто раздумывает: упасть ей или нет. Мягкий весенний ветерок качает ее пушистые опахала. И кажется Алексею Гурьевичу, что и он, как живое это дерево, не хочет попасть в водоворот и из последних сил цепляется за жизнь несколькими еще уцелевшими корнями.

Скучные мысли в эту ночь одолевали Алексея Гурьевича.

Прошло несколько дней. Каждое утро солнце, выползая из-за мыска, веселыми лучами освещает природу, накопляющую могучую силу для буйно цветущего лета. В этот день небо было ясно, как начисто вымытое и обтертое блюдце. А лес чуть-чуть шумел. Шумит он не так, как в плохую погоду, а ласково, нежно, точно издалека звенящая музыка.

Легко и весело доносятся с запани бодрые рабочие звуки. Там слышен звон топора, здесь тащат бревно, тут перекликаются, разом дружно выдыхая: «оо-пп!» Большинство рабочих в легкой одежде: рубахи да штаны — и все. И вода в такой веселый день уже не пугает своей стремительностью и ярким блеском. Она, как и небо, кажется гладкой,— хоть кадриль танцуй на ней.

Их четверо. У каждого свой характер, свои особенности. Один из них больше других кидается в глаза. Кузнечиком прыгает по скользким бревнам: видать, не впервые работает на сплаве. Ростом маленький, с быстро бегающими глазками. Чаще всего раздается его голос:

— Ну-ка, берите!.. Дергай, тяни! Ах ты, семь-восемь!

Это и есть Иван Пыста. Взглянешь на него и подумаешь: «Счастливее этого человека нет на свете». И глубоко ошибешься. Спроси-ка об этом его самого, он тебе расскажет о своей жизни.

Посторонний человек, вероятно, примет его за бригадира: «Вот,— скажет,— кто у них руководитель, командир». Но на самом деле и бригадир не он, а Алексей Гурьевич, и если внимательно понаблюдать за ними, то можно заметить: не в согласии у них идет работа. Пыста скажет так сделать, а Гурьевич непременно по-своему устроит. Однако, шума у них нет: Иван Пыста как будто и не замечает ничего. Может быть, впрочем, и замечает, да вида не показывает,— мысли человеческие кто же может знать?

Алексей Гурьевич совсем другой человек: не носится, не прыгает с бревна на бревно. Твердыми шагами ступает он на заранее облюбованное место, осторожно и не торопясь работает багром.

С густыми бровями, с подстриженными усами, единственный из всех без бороды, он резко выделяется среди других: это после возвращения с германской войны он начал бриться каждую неделю. Не очень-то изменился он за пятнадцать лет. Дома есть у него фотография, снимался еще в царской армии: сразу узнаешь. С такими же подстриженными усами, «руки по швам», кокарда, шашка сбоку... Только что волосы его тогда буйно выбивались из-под козырька, да лицом как будто моложе был.

Алексей Гурьевич вторым обосновался в починке. У него была своя тайная надежда, с которой он пришел на новое место. Он и сейчас лелеет эту надежду. Крестьянство свое поправить хочет; крепким хозяином стать. А чтобы в колхоз, как другие,— ни-ни!

Глядя на Гурьевича, в починок «Новое счастье» перешли еще человека два-три. Вместе с ними был и Иван Пыста. Все они искали счастья; своего особого, крестьянского счастья. За вожака у них считался все тот же Алексей Гурьевич. И понятно: он все же грамотный, газету выписывает, да и насчет законов мало кто в округе осведомлен так, как Алексей Гурьевич.

Вот и здесь, на работе, в каждом движении, в каждом взгляде его чувствуется что-то повелительное. Видать, привык считать себя первым.

Когда составили нижний ряд плота, а поперек него положили бревно для связки, Алексей Гурьевич воткнул свой багор и сел.

— Отдохнем, братцы,— вымолвил он мягким голосом. Странное дело: человек такой мрачный, а голос такой мягкий и даже, как будто, ласковый...

— Ну, вот и опять весна наступила! Крестьянству на пользу...— оглядывая берега, как бы про себя, проговорил Прокоп Большой.

У него голова — как котел, борода — важная, окладистая. Кожа на лице вся изрыта, будто тараканами изъедена,— видать, когда-то оспой болел. У его сына — Прокопа Меньшого — точно такая же большая голова. Если б только ему приложить отцовскую бороду, издали, пожалуй, и не отличишь от отца; вблизи-то оспины выдадут.

— Ах ты, семь-восемь! Вот уж сороковую весну ищу я счастья, а все не нахожу,— встряхнул головой Иван Пыста.— Сидим это мы сейчас и покуриваем здесь. Примерно сказать, природой наслаждаемся... А ведь конец-то наш смертный все приближается и приближается. Глядишь — день прошел, опять его со счетов долой и еще один шаг к могиле. И никак ты от этого самого дела не отвертишься! Человек вот города строит, на аэропланах за облаками летает, а смерть свою перегнать все не может. Вот и живи теперь, семь-восемь!.. Да что ж сказать: а разве раньше-то жили мы?.. Всю свою жизнь искал счастья... Состарился... Я вот слыхал от стариков...

— Ну, коли слыхал, так и ладно,— перебил его Прокоп Большой,— я вот тоже слыхал: где-то, говорят, кур доят. Ты сказки нам не рассказывай. Давай-ка о пользе что-нибудь поговорим. Верно, Алексей Гурьевич?— спросил он.

Но Алексей Гурьевич даже и не пошевелился: может, просто не слышал, а, может, и слышал да не желал слово свое бригадирское вымолвить попусту. Это вполне в его характере. Всегда угрюмый, молчаливый,— кажется, как будто он забыл свое имя и теперь старается вспомнить.

Но Прокоп Большой и не стал ждать ответа. Снова повернулся к Пысте:

— Ну, вот, например, мы с тобой, Иван, работаем здесь... Так... Ладно... Значит, работаем... Так вот ты и ответь мне, польза нам от этого или нет?

У Пысты рот начинал кривиться, но сразу же вновь принял прежнее положение... Прокопа Большого в починке недаром прозывают «искателем пользы». Любит он надоедать соседям с этим делом.

— Без пользы, известно, не работаем,— как от надоедливой мошкары, отмахнулся Иван.

Но Прокоп на этом не успокоился:

— Нет, ты вот, Иван, давай всерьез подумай. А кому польза-то от этого и какая польза? Куда этот лес отправляют? Ты не отмахивайся, я не в шутку... Сердце мое от этого болеет.

— Куда?— засмеялся Пыста.— Разве не знаешь, семьвосемь? Ох, и хитрый!.. Туда!.. Вот куда отправляют... Далеко! — рукой махнул в сторону леса.— На фабрики, на заводы...

— Вот, вот, спасибо тебе, брат! Верно сказал, значит, рабочим их отправляют. А мы вот работаем здесь,— мерзнем, кряхтим почем зря... Вот тебе и польза! — легко вздохнул Прокоп Большой и привычным жестом схватился за свою необъятную бороду. Видать, успокоил сердце своими словами.

— Нет, ты постой!.. А я вот по-другому соображаю, дружок.— Пыста на минуту смолк.— Ведь и крестьянину-то тоже нужна техника. Техника, она, знаешь, того... Да... В Германии, говорят, есть такие фабрики, что просто

чудо... В одни двери живые коровы входят, а в другие — сапоги да консервы, пожалуйте... Надевай, значит, этакие сапоги-то крепкие и отправляйся, хоть к чорту в болото неводить... Да!.. Вот это техника!.. Ну, однако, у нас такая же строится... Догнать их хочем, семь-восемь.

— Догнать и перегнать,— не утерпел Прокоп Меньшой. Ему, сказать по правде, давно уж хотелось словечко вымолвить, да воздерживался. Хоть и здоровенный парень, а отца все еще побаивается.

— Садись! Тоже выдумал: перегнать,— даже не обернувшись, небрежно бросил ему отец.

Прокоп, видимо, еще что-то хотел сказать сыну, но внезапно в его большую голову пришла новая мысль. Продолжая корявыми пальцами расчесывать широкую бороду, обернулся он к Пысте:

— Так техника, говоришь? А какая, опять-таки, польза от этой техники? Может, думаешь, ее тебе дадут? Ведь мы-то с тобой — единоличные! Колхозникам, ну, тем, может быть... Вот ты и отвечай: где же польза-то, какая польза?

— Чего мне тебе отвечать?— нахмурился Иван.— Я не оратор. А ты почем знаешь — может быть, и я тоже скоро буду в колхозе... Может, я на это только и надеюсь теперь,— вздохнул он и, нахмурив брови, снова уставился на воду.

Это был уже не давешний бойкий Пыста. Глаза сразу погрустнели, лицо сплошь покрылось мелкими морщинами, как будто печальные мысли исцарапали его своими тупыми иголками.

— Мне вот предлагают: выходи, говорят, из починка. У вас, говорят, там колхоза нету. Сергей еще вчера упоминал.

— Да ну? И что ж ты?— попрежнему глядя в сторону, сразу встрепенулся Алексей Гурьевич.

Пыста ответил не сразу. Гурьевич обернулся, и глаза его, как испуганные мыши, шмыгнули сперва по Пысте,

потом по двум Прокопам. На Большом задержался на минуту; внимательней, чем на других, посмотрел на него.

— Да что-то жалко мне оставлять насиженное-то место... «Новое счастье»! — горько усмехнулся Пыста.

— И не надо! Все равно пользы не получишь,— сказал свое веское слово Прокоп Большой. Затем, сердито глядя на сына, добавил: — Этот вот каналья тоже в ту же сторону поглядывает!.. Знаю я твои мысли: женишься и разделишься, да и в колхоз... А отец живи, как хочешь. Так или не так, я тебя спрашиваю? Ась? Не желаешь потоптать отцовскую дорожку? Ну, а ты как думаешь, Алексей Гурьевич: следует им или нет итти по нашей дорожке?

Алексей Гурьевич долго молчал, потом медленно, словно обдумывая каждое слово, начал разъяснять:

— Конечно, с какой стороны приглядеться... В других местах — ну, там, действительно, нельзя без колхоза. В других местах, примерно, народу много, а земли не хватает. Там, конечно, без колхоза тяжело; надо прямо сказать,— тяжело. А у нас что?.. Семь хозяйств, а земли вдоволь, хотя бы и на двадцать семь хватило! Можно бы было прожить, если бы...— Что-то еще хотел добавить, но промолчал; затем, с досадой скривив рот, процедил сквозь зубы:— Кто его знает? Может быть, и нам понадобится о колхозе подумать... Все может быть,— будь оно проклято!..

— Надо! Надо подумать, Алексей Гурьевич,— встрепенулся Пыста.— В артели там ведь совсем другая гарнизация. Мы вон тоже работаем здесь, а с черной доски не слезаем. Ну, а ты возьми, к примеру, Сергея с бригадой... У них норма всегда выполняется! У них, семь-восемь, другой разговор — колхозники!

— Таковские! — словно сплюнул сквозь зубы Алексей Гурьевич.

И понял Пыхта: надеяться на него — сидеть и мокнуть в луже. Не пойдет он в колхоз.

— Не для себя работаем,— пояснил Прокоп Большой.— Пользы нету,— вот и торопиться некуда, смерть все равно не перегнать. Поработаем еще малость да и домой!.. Всей артелью подымемся и конец. Дома если поработаешь,— все себе польза. А здесь что? Верно я говорю, Алексей Гурьевич?

Но Алексей Гурьевич опять уже не слушает. Полузакрытые глаза его смотрят на воду, по которой бегает чуть заметная рябь, и не видят ничего. Мысленно он теперь уже дома, в хозяйстве своем... Пегашка... семена... земля, преющая под весенним солнцем... Воспоминания ярко и отчетливо всплывают в памяти, особенно после заманчивых слов Прокопа. И в мыслях уже ходит он вокруг дома, осматривает, проверяет: что-то успели сделать жена и сын-подросток?.. Как они там с семенами?.. Не зашибли ли Пегашку. Ведь сев-то уже близок...

Да, не здесь его сердце, не на сплаве! Самые радостные дни в его жизни были те, когда он только что переселился в починок и стал выкорчевывать пни, складывать костры, жечь их и мотыгой разрыхлять землю. Тогда были у него большие надежды, много силы. А теперь?

Над переносицей две глубокие морщины, как след от медвежьего когтя, да грудь, полная злобы... А на кого? За что? Не будь еще этой старой надежды, может быть, и бросил бы он уже трепаться в водовороте жизни. Но вместе со своей обманчивой надеждой состарился и сам Гурьевич. А ведь правду сказать, еще молодой он, только тридцать девять осеней[68] ему исполнилось.

И опять вспомнил Алексей Гурьевич ель, накренившуюся у устья Курьи.

II

Спускается солнце к западу, и красно-багровые лучи его — словно брызги крови из развороченной раны. Золотом переливается левый берег реки, а правый — уперся в тихую гладь воды и стоит молчаливой крутой стеною обрыва... Волосы на голове не шелохнутся — так тихо.

Из конторы лесосплава вышел человек и на доске соревнования написал результаты дневной работы бригад.

Кое-кто задержался еще на запани, но уже не слышно было звуков дружной коллективной работы. Только шорох быстрины чуть оживлял вечернюю тишину.

Из столовой, в которой обедали сплавщики, Пыста заметил сотрудника и, торопливо закончив обед, направился к доске соревнования.

Горят мелом начерченные буквы и цифры. Ухватившись за маленькую серенькую бороденку, шевеля губами, смотрит на них Пыста.

— Ну, как сегодня? — окликнули его из столовой.

Пыста чуть вздрогнул и оглянулся. Опершись на перила, стоит у входа Прокоп Меньшой. Смотрят на доску и другие.

— Семьдесят два, — пробормотал он и снова повернулся к доске.

— А кто сегодня на черепахе?

— Иван-дядь, что спину повернул?

— Загордился!

— Ха, опять, видать, на паре: на раке и на черепахе!

Знает Пыста — добродушный это смех. В артели всегда так: над кем-нибудь уж обязательно подшучивают. Но сегодня не выдержал. Круто повернулся, крикнул:

— Чего ржете? Овса нажрались?.. Сегодня кто-то другой на черепахе, не мы, семь-восемь...

Но хоть и крикнул, а тяжесть от сердца не отлегла. Правда, сегодня они не на черепахе, а крупных результа-

тов все же не видать. Их семьдесят два процента помечены пешеходом, не больше.

— Смогли бы и мы больше, да вицы-то дрянь,— послышался голос Прокопа Большого.

С каким-то другим сплавщиком вышел он из столовой.

— Все одинаковыми вицами работаем!

— Одинаковыми-то одинаковыми, это верно... Но что за польза от этого?— невольно вырвалось у Прокопа любимое словечко, даром что совсем не к месту.

Постепенно к берегу собирается молодежь. Девушки, обнявшись попарно, ходят вдоль берега, иные пробуют голоса, но дружной песни пока еще не слыхать. Когда раздадутся звуки гармошки, когда ее переливы взбудоражат лесную тишь, тогда только начнется настоящее веселье.

— Привет дяде Ивану! — окликнул Пысту кто-то сзади.

— А-а, семь-восемь, Сергей! — поздоровался он с обгонявшим его долговязым парнем.

На Сергее красноармейская фуражка. Когда он встряхивает головой, вороньим крылом переливаются выбившиеся из-под козырька черные волосы. На воротнике гимнастерки — следы петлиц.

— Гляжу вот...— указал на доску Пыста.— Здесь ведь все видать: у вас сто и пять, а у нас всего семьдесят два... Ну, я и думаю: почему это мы всегда позади? Ведь, к примеру, ты, Сергей, еще без штанов бегал, когда я уже кряхтел у бревен. Весь вкус испробовал!.. А вот нынче... И зло берет меня, сердце горит. Всю-то свою жизнь я лес возил и сплавлял, а работать, видно, не научился. Ну, прежде это известно: на буржуев спину гнули... Я хоть и не оратор сам, но сердцем-то чувствую: сейчас не старое время, все, значит, нам самим на пользу. Тут, казалось бы, вдвое надо работать, пусть, семь-восемь, только искры из глаз сыплются. Ан глянешь,— норма-то, и та не выполнена. Ну, тут уж, известно, рассердишься. Факт...

Хлеб жрать и дома можно... Вот не умею я тебе передать, чего мне хочется... Ну, слов просто не нахожу... А вот где, вот... Здесь вот, семь-восемь,— ударил он себя в грудь. Затем подхватил Сергея под руку и отвел в сторону.— А ну, пойдем, сказать тебе кое-чего надо... по секрету. Гляжу вот я на тебя и думаю про себя: все дело, видать, в том, что у вас совсем другая гарнизация, значит. Но хочу и я что-то предложить, хочу и я слово вымолвить. Тоже, как вы вот... На, держи правую руку! Видишь мозоли?.. Ладони, как кора у старой ели. Гляди, работы не боятся! Ну, и бери их, семь-восемь. А их, артель нашу, к чорту! У них гарнизация не по мне.

— Постой... Иван,— держа руку Пысты, проговорил Сергей.— Мы, конечно, очень рады... Таких работников, как ты, мы с удовольствием примем. Ты не сдашь, знаем... Но... но надо подумать сначала..

— О чем, семь-восемь? Во, я весь здесь. Или?.. Тю-тю-тю! Так, так, Сергей! Ну, уж больше ничего тогда и не говори! Понял... Хорошо, пусть будет так,— тяжело вздохнул Иван Пыста и отвернулся.

Далеко над лесом виднелся лишь край солнечного диска. Полнеба, казалось, охвачено огнем, но чуть в сторонке от заходящего солнца поднималась черная туча. Медленно, тяжело ползла она по склону неба. Что-то грозное чувствовалось в самой ее медлительности и в необычайной тишине природы.

— Да ты постой, не торопись, дядя Иван! Я ведь и не думал тебя обидеть! Садись, побеседуем!

Сергей с Иваном отошли к ивам и присели на валявшийся рядом обрубок.

— Сам вижу: не все ладно в вашей бригаде. Это верно, ты прав,— что и говорить. Но выйти тебе сейчас из бригады, дядя Иван, нельзя. Ну подумай: ты выйдешь, другой выйдет... А кто же останется-то? Тебя же и будут ругать: сбежал, дескать, первым развалил бригаду. А кто

знает, может быть, кое-кто этому и рад будет. Ну-ка, сообрази-ка! Понял?

— А-а, ты вот о чем! — улыбнулся Пыста. Пропали морщины, снова радостно забегали глаза и путаная, неумелая речь его зазвучала веселее.— А я-то ведь думал, что вы боитесь меня... Единоличник, мол, не вашей гарнизации... А ты, значит, вот о чем, семь-восемь!

— Ну что ж, что единоличник, велика беда! Может, и ты завтра же встанешь на нашу дорогу.

— Во, во! — радостно схватил Иван руку Сергея и с сердцем тряхнул ее раза два.— Правду, брат, сказал! Обязательно встану... И об другом правду сказал... Верно, верно, Сергей.. Прокоп Большой и то уж поговаривает: домой, мол, пора... А другой, этот самый Гурьевич, ох, ну и собака же!.. Ты его еще мало знаешь, а я ведь сколько лет уж торчу около него! Может, вам оно и кажется, будто работать он сюда пришел... Да нет... Как бы не так!.. Он — как выдра, как кошка он... Ждет только своего часа, а там... Уж я-то его знаю, знаю, брат... Э-ге!.. Говорю тебе, у нас совсем другая гарнизация!..

— А ты, дядя Иван, не сдавайся. Проводи свою бедняцкую линию, и шабаш. Они по-своему, а ты по-своему. Помни: все бригады должны работать.

— Знаю, знаю... Да ведь плохой я оратор... А правду сказать,— так и совсем даже никудышный: чуть перед народом заговорю — крышка... язык отнимается, в горле пересыхает... И вот, хоть ты тресни, а двух слов не свяжешь... А не то бы я их прокритиковал, семь-восемь! Уж я бы сумел!.. Вон, вон, гляди,— идут они. Пни смолистые, а не люди... И не сковырнешь ведь их... Знаю я.

Когда подошли Прокоп Большой и Алексей Гурьевич, Иван Пыста, как ни в чем не бывало, смеясь, пригласил их присесть и сразу же,— хоть и плохой был оратор,— сумел завязать общий разговор. На лице его уже не видно было прежнего выражения, лишь в глазах можно

было заметить глубоко запрятанные недоверие и осторожность.

Черная туча все больше и больше расползалась по небу. На первый взгляд она будто, казалось, даже и не движется; нависла огромным тяжелым парусом над лесом и давит на него.

— Ветряная нынче будет погода,— глядя на потухающую зарю, проговорил Алексей Гурьевич.

— Кажется, что так, Алексей Гурьевич. Солнце вон как се́ло,— закат совсем кровавый. Каково-то будет завтра работать? Если холодный ветер дунет, так сильно помучаемся и безо всякой пользы. А ты как думаешь, Сергей?— спросил Прокоп Большой.

— Крестьянин у нас привычный!.. Будет тебе работать, пока на нос не кокнется,— глядя в сторону, вымолвил Алексей Гурьевич. Вот и понимай его слова, кто как хочет!

— Ну, это как сказать, а насчет такой работы что-то не особенно мы... В домашнем бы хозяйстве если... на себя кабы,— подыграл ему Пыста.

— Верно, Иван... У нас с тобой сердце крестьянское, будь ты проклят!.. Птица ведь, и та беспокоится из-за своего гнезда. Одна только кукушка живет как попало: сегодня здесь ночует, а завтра опять где придется. Так за то бездомной и зовут ее, бедную.

Темнеет. Туча грузно навалилась на чуть тлеющую зарю и постепенно проглотила ее. Почернела Курья. Черны глаза и у Алексея Гурьевича, играют они холодным вороненым блеском.

— Конечно, у всех у нас имеются кое-какие хозяйства; у одного — больше, у другого — меньше, у третьего — так себе,— медлено начал Сергей.— Ну, и ищем мы в них свою пользу. А ведь есть еще и другая польза... Большая и нужная. Глядите-ка, сколько здесь лесу! Кто его сплавит, если не мы сами? Лес-то ведь теперь наш, госу-

дарственный... Сами мы ему хозяева! А какой же хозяин не станет беспокоиться о своем хозяйстве? Ну, вот, примерно, ты, Прокоп, ведь не оставишь же хлеба на корню? Ни на кого, наверное, не будешь надеяться...

— Ясно дело! Но ведь ты пойми, Сергей, в государстве-то этом не я один живу. Какая же мне-то будет польза, если я сплавлю этот лес? От него я не разбогатею.

— Если государство бедное, так ведь и ты бедный. Откуда ты возьмешь тогда плуг, косу, топор?.. Сам, что ли, сделаешь? Подумай-ка, дядя Прокоп!

Не нашел ответа Прокоп. Глядит на приближающуюся тучу, сопит. Тяжелыми жерновами в голове ворочаются мысли. Вся его жизнь так переламывается. Эх, а ловок же Сергей! Так прямо и притронулся к вековечной ране, наизнанку вывернул все, что было всосано с молоком матери. А теперь сидит, молчит, ответа дожидается... От-ве-е-та...

Тяжело-тяжело поднял Прокоп свою большую голову.

— Значит, по-твоему выходит: надо нам бросить наши курятники, да? К чорту и к матери все послать и отправиться в это твое государство искать общую пользу?— яростно блеснул глазами Прокоп и с сердцем добавил: — Нет, Сергей... Вы меня не тяните! Мне своя шкура дорога. Пускай она в мозолях, пускай потрескалась от грязи, а дорога... моя ведь!

— Ну, конечно,—пригладил свои усы и Алексей Гурьевич.— Мы ведь в иные времена родились, иные и разговоры ведем.

— Верно, Гурьевич, верно! Мы старого поколения люди, нам нечему удивляться,— с облегчением вздохнул Прокоп, как будто в этом и заключался весь ответ.

По ивам, пригибая их к земле, пронесся порыв ветра. С силой наваливаясь на кусты, он сгибал их почти у корня. Уже слышен был приглушенный шум взбудора-

женного леса, волнующегося на той стороне реки. А ель у устья Курьи все еще трясет своей верхушкой, все еще машет широкими опахалами да иногда издает истошный, надорванный скрип. Борется, видать, за свою жизнь, обреченная; все свои силы напрягает в борьбе с крепчающим ветром, как и в былые времена, когда еще корни ее крепко сидели в земле.

III

Туча принесла с собой настоящий ливень. Целые сутки, не переставая, хлестал он, затем запасы воды как бы истощились, и уже только время от времени начинало моросить. Но тучи так и не исчезали. Они стаями неслись, почти вплотную нависая над пармой. Обмок, посерел лес.

В запани — тревога. Треугольник и администрация запани, вместе с бригадирами, обсуждают меры по борьбе со стихией.

Капризная Курья уже в начале этих беспокойных суток проявила свой взбалмошный характер. Сначала поплыла пена, затем разный мусор, и вода в Курье стала еще мутнее.

Через двенадцать часов вода начала прибывать. Конечно, запань укреплена, можно надеяться. Но... кто ее знает, как долго будет бушевать эта Курья? И поэтому надо каждую минуту быть готовым к худшему.

В эту ночь долго не мог уснуть Алексей Гурьевич. Днем ему придавило бревном ногу, и к вечеру она заметно покраснела и опухла. Из-за этой ноющей тупой боли, казалось ему, и не мог он заснуть.

Раз было начала его одолевать дремота, но быстро он проснулся снова от ощущения какой-то непонятной ему самому тревоги.

В бараке полумрак. Над столом чуть-чуть мерцает

лампа. А на улице — страх: и шумит, и гудит, и на все лады завывает. В рамы стекол дробно стучит дождь.

— Эх-хе-хе-хе-хе! Жизнь, жизнь!.. Где же порядок-то, где же то, что каждый ищет сам для себя? И чего я жду здесь? Ничего не вижу перед собой, ничего! Кругом, как мутная река, черная ночь... Куда же это ты уходишь, надежда моя, а? — вслух вздохнул Алексей Гурьевич.

Зловеще гудела ель на своем мыске. У самых ее корней с шумом бились волны реки, подымаясь и чуть ли не до половины ствола обдавая одинокое дерево каскадами брызг. С шумом отваливаются комки земли от берега и исчезают в пучине разъяренной реки.

— Никак еще кто-то не спит? Это ты, Гурьевич? — приподнял свою взлохмоченную голову Прокоп Большой. — Погоду-то слышишь, Гурьевич? — продолжал он полушопотом, садясь и развязывая кисет. — У-у-у!.. Шумит темный лес, волнуется! Гу-гу-гу... И мне чего-то тоже не спится, мысли одолели, Гурьевич.

От нежданого человеческого голоса точно отлегло что-то сразу у Алексея Гурьевича, — легче как будто стало.

— Две недели с лишним уже не брился, — провел он рукой по подбородку. — Озвереешь здесь, будь ты проклят! Да уж известно, — какая тебе работа в руки полезет, когда сердце ее не хочет...

— А ты, Гурьевич, плюнь на сердце!

— Слушай, — наклонился Алексей Гурьевич к Прокопу. — Идем-ка отсюда!.. Сейчас же идем!.. А?

— Постой, Гурьевич, — поскреб себе макушку Прокоп. — Как же итти-то? У тебя ведь нога болит. На животе потащишься, что ли?

— А ну ее к чорту, ногу!.. И так проковыляю, хоть на животе, а протащусь!

Долго молчали оба, прислушиваясь к вою ветра. Накинув полушубок на голову, снова лег Алексей Гурьевич, но заснуть не мог...

В полутьме опять послышался голос Прокопа:

— Я вот все обдумываю, Гурьевич, почему это я такой?.. Другие, гляди, стараются, например, Пыста. Ну, чего это он надсаживается? И думаю, и думаю,— а все никак понять не могу... Ведь не на себя же он работает!.. Странное дело! Почему это, думаю я, не все люди одинаковы? С Пыстой-то мы вместе ведь росли. Сговорясь, вошли в починок наш. На тебя надеялись: вот, мол, ты, Гурьевич, обжился хозяйством, так, может, и нам привалит счастье. «Новое счастье»-то наше... Да... Вот так-то... Иной раз и думаю: почему же это я таким стал? Пыста, гляди, человек не богаче меня,— тоже из года в год перебивается,— а вот поди же, видит какую-то общую пользу!.. А я — нет... Не вижу... Ну, например, этот лес. вот. И к чему он мне, да и я для него к чему? Сейчас вот спрашиваю себя: «ну что будет со мной, ежели запань лопнет?» Мне ведь кажется: и сердце бы не дрогнуло. Вот кабы я эти бревна свез к дому да новый дом из них громыхнул,— ну, вот тогда... тогда бы и я увидел пользу!.. А то пропадет он с наших глаз, как в воду канет... а? Объясни-ка ты мне, Гурьевич, почему это я такой?

Алексей Гурьевич не шелохнулся. Прокоп, не дождавшись ответа, снова начал шептать себе в бороду:

— Тебе, Гурьевич, за тридцать, а мне уж за сорок. Знавал ты попа Кондратия?.. Хоть и духовного звания был человек, но иначе как собакой и не назвать его... Собака, и больше ничего. Каждый день бывал пьян. Пьяным и обедни отслуживал. Раз попал я как-то к нему, еще в детстве было.— Пляши,— говорит,— копейку дам! — А что для мальчонки: за копейку хоть на дно реки нырнет! Ну, и сплясал я каналье. Так потом целый год веришь ли, носил эту копейку у себя за языком. Так и спал с нею. А раз как-то пошли купаться мальчишки: ныряют, плавают, брызжутся... Сунем головы в воду и пускаем пузыри... Интерес тоже думаем, вроде будто польза. Ну,

вот сунул я, значит, голову на манер утенка, да и... выронил ту копейку. А жалости-то что было!.. Я это к тому говорю, что ты приметь, Гурьевич: еще в детстве-то мы насколько корыстны, с младенчества о пользе своей думаем. А затем как подрос да женился, ребят полный пестерь наплодил... Пыхтишь, кряхтишь, с работы на работу кидаешься!.. И бревна-то валишь, и дрова рубишь, и землю-то ковыряешь... Всяко стараешься — все думаешь, как бы обеспечить свое брюхо. Все корысть, все польза! Знамо дело, чужие люди руки тебе не протянут. А застрянешь в нужде, так еще и коленочкой сзади тебе подсобят: валяй, скажут, может, нам легче станет после тебя. Ну, и дерешься за свою жизнь — вроде как зверь... Вот я думаю, потому я, может, и вырос таким себялюбом: своя шкура только мне и дорога... А теперь состарился. Конечно, таким уж и умру: «горбатого гроб да могила выправят»,— недаром так говорят. Ну, а как подумаю: для чего же это я жил? Что хорошего кому сделал? Кто добром помянет?.. Эх-хе-хе! До слез ведь жалко, что без пользы вся жизнь прошла... как та копеечка: канула, а обратно уже не вернется... Ведь так, Алексей Гурьевич, а?.. Спишь уже?..

Незадолго до рассвета вошел в барак Пыста. Теперь он был совсем другой. В глазах трепещет какая-то забота. Шаги его стали тверже, увереннее.

У порога встряхнул намокшую шапку.

— Вставайте! — начал будить он двух Прокопов, отца с сыном.— Нашей бригаде выходить дежурить.

После того как Алексей Гурьевич ушиб себе ногу, бригадиром выбрали Пысту. Поэтому он, должно быть, и преобразился и стал сразу другим человеком,— еще более беспокойным. Со всем своим желанием взялся за работу. Сегодня хоть и дождливо, но работу на запани не прекращали. Бригада Ивана Пысты впервые выполнила за-

дание на девяносто пять процентов,— даром что Гурьевич выбыл из строя. И это несмотря на то, что погода была совсем паршивая, работа шла туго. Даже бригада Сергея сбавила норму. Это и воодушевляло Пысту, нового бригадира.

— Что ты? Ночью-то?.. по-настоящему не отдохнувши-то, и выйдем?— начал возражать чуть вздремнувший Прокоп.

Он сегодня совсем не выспался. Известно, кому же охота в такую паршивую погоду выходить из теплого барака! Да и к тому же еще ночью!..

— Ничего, семь-восемь! — твердым голосом успокаивал его Пыста.— Бригада Сергея уже продежурила первую половину ночи, а теперь наша очередь — утро встречать. Да ты не думай, ведь и остальным придет очередь! А кому-то надо же ночь дежурить... Я сейчас только что с реки... Вода прибывает по три сантиметра в час. Запань пыхтит, надувается. Выдержит ли? Дождь, правда, ослабел, но тучи не расходятся.

После длительного кряхтения и бормотания Прокоп Большой оделся во все теплое. Сын его уже давно был готов. О нем худого слова не скажешь: ударно работал. Отец нередко делал ему замечания:

— Ну, ну, ты полегче! Грыжу наживешь!..

Вышли на улицу.

Еще темно, но уже заметны признаки наступающего утра. Ветер дует с противоположного берега. Это будто бы к лучшему: сдерживает немного запань, напирая ей в лоб. Но, с другой стороны, он же задерживает и течение в Курье. Вода прибывает не столько от дождя, сколько от напора ветра. Бригада Ивана Пысты по бону [69] переправилась на ту сторону, осмотрела кругом запань, проверила надежность выносов и укреплений.

— Да, семь-восемь!.. — под нос пробурчал новый бригадир, да так тихо, что сам не слыхал своих слов.

Свистя в ушах, проносился мимо него ветер, поднимая тучи водяной пыли. А боны — как струны, натянутые до предела. Вот-вот порвутся.

Два Прокопа — отец и сын — спрятались от ветра и зажгли костер. Пыста побежал в контору.

— Куда ты положил новые гужи, голова? — бормотал отец, грея руки над огнем. Видать, опять вспомнил про свой дом. — Надо было бы тебе их в амбар вынести... и что у них там только делается без нас? — глубоко вздохнул Прокоп. — Да, ясно, какой толк получиться может без хозяина?.. Здесь вон, как чорт, корчишься у огня да дрожишь, а там, может быть, одни головешки остались от дома!.. Все ведь может статься, заронил огонек — и шабаш. Вышла, скажем, мать сена задать коровам с огнем, — ну, и подожгла невзначай. А не то и мальчишки спичками могут делов натворить... Знаю я их всех! Вырастил тоже себе на пользу, каналий!..

Ворчит невыспавшийся Прокоп. Иной раз густой дым кидается ему в лицо, и тогда старый сплавщик кашляет до слез, отчаянно плюясь и задыхаясь.

Заметно рассвело. Не будь туч, сейчас бы уже можно было видеть восходящее солнце. Но теперь над лесом все еще нависает тяжелый крутящийся и беснующийся полумрак.

В конторе, в клубах табачного дыма, заседает треугольник запани. Здесь и директор, и секретарь партячейки, и бригадиры. У большинства глаза красные, слипаются, и, чтобы прогнать дремоту, все усиленно курят.

— Вода продолжает прибывать. Пока что особенной тревоги положение не вызывает, — запань крепкая. Но если вода поднимется еще на полметра, — сами должны понять, что́ может случиться, — как бы размышляя вслух, докладывает директор.

Заседающие усиленно пыхтят цыгарками. По очереди берут слово и высказываются. Яркая лампа «молния» то

вдруг вспыхивает, то почти потухает, утопая в клубах табачного дыма. У порога, стараясь не шуметь, кто-то возится, разжигая железную печку.

— Сегодня надо будет прекратить сплотку. На том берегу реки есть два якоря, их необходимо перебросить сюда и добавочными выносами укрепить наиболее ответственные места.

Треугольник постановил немедленно взяться за переброску якорей.

Выйдя из конторы, Иван Пыста на момент задержался на крыльце. Светает. Сквозь просеку вдоль устья Курьи виднеется река с яростно вздымающимися волнами. В ее-то сторону и глянул Пыста.

— Ах ты, семь-восемь! Хоть раз да развернусь душой...

Два Прокопа — отец с сыном — все еще сидели у костра. Старший Прокоп дремал, уткнувшись носом в полушубок.

Бегом подбежал к ним Пыста и объяснил, какое поручение возложено на их бригаду.

Пыста, хоть и сам уже больше суток не смыкал глаз, но бодр, как всегда. Глаза блестят смело, с задором, а голос крепок.

— Ну, айда в лодку! Съездим за реку за якорями! Эй, Прокоп, да что же ты? Встряхни-ка свою буйну голову, ты, семь-восемь!

Достали лодку, весла. Положили в нее два багра — на всякий случай, может, и пригодятся.

Но Прокоп Большой, ухватившись за столб, торчащий у воды, отказывался сесть в лодку.

— Да что с тобой, Иван? Иванушка! С ума ты спятил, что ли? О, господи! На такую-то воду... да еще без пользы... чего голову-то совать?

— Ничего, Прокоп! Садись грести!.. Приказ директора. Иди, иди!

— А пусть он хоть раздиректор! Ни за что на свете! И не проси, пожалуйста! Нет, нет и нет! Руби здесь, коли хочешь, мне голову, а в лодку не сяду!.. Брат мой, царство ему небесное, тоже вот так-то утонул... И сына не пущу! Нечего, нечего огород городить, не пьяные пока! Эй ты, каналья, выходи из лодки! Тебе я говорю или нет?

Впервые младший Прокоп ослушался своего отца — не вышел из лодки.

Подошел Сергей. Хотя он уже и продежурил эту ночь, но, очевидно, боясь за запань, не лег отдыхать.

Решили втроем за якорями поехать: Пыста, Сергей и Прокоп Меньшой.

Лодка двинулась в сторону устья Курьи. Хотя и надо было плыть вниз по течению, но все же много усилий пришлось потратить гребцам, прежде чем они добрались до устья. Встречные волны кидались на них, брызгая и обливая холодной водой, и толкали лодку назад.

... А Прокоп Большой все время шел за ними по берегу, на чем свет стоит ругая и сына, и Ивана Пысту, и погоду. Борода его развевалась по ветру и была похожа на взлохмаченный пучок лишайника.

Наконец лодка добралась до устья. Там, на берегу, стоял уже Алексей Гурьевич. Видать, только что приковылял сюда. Зачем это только — непонятно...

— Брось орать, Прокоп! Все равно нас не послушаются, будь они прокляты,— буркнул он, когда Прокоп подошел к нему.

Оба глядели на беснующуюся реку.

Ветер косо бьет в устье Курьи. С противоположной стороны реки пенные волны мчатся бешеными стаями, ударяясь и разбиваясь о глинистый берег.

Лодка вышла на реку. Прокоп Меньшой и Иван Пыста гребут, напрягая каждый мускул. Концы гнущихся весел взрывают крутящуюся у бортов воду, а когда боль-

шая встречная волна подымает нос лодки,— весла бессильно чертят по воздуху, едва-едва задевая пенистый гребень.

— О, господи! За грехи наши господь послал нам такую погоду!.. Утонут ведь!.. И сына моего утопят, канальи! — шепчет дрожащий Прокоп-отец, следя за медленным продвижением лодки. Он придушенно вскрикивает, когда горбатая волна перекатывается через борт лодки.

Но лодка, вершок за вершком, упорно продвигается все дальше и дальше от берега, на котором стоят два сгорбленных человека. Один — с развевающейся бородой, со страхом в глазах, другой — с корявой палкой в руках, опирающийся на нее и таящий какие-то свои помыслы.

— Да, Прокоп, другой, видать, мы с тобой закалки!.. Не из их семьи,— присев на камень, понурил голову Гурьевич.

Прокоп-отец уже и хныкать перестал... Стоял обессилевший, подавленный, смятый. Только лихорадочно блестящие глаза еще говорили о том, что в нем все кипело.

Когда лодка стала приближаться к противоположному берегу, Прокоп вздохнул с большим облегчением. Даже на голове шапку поправил. Там — у противоположного берега — значительно спокойнее. И берег круче, да и лес,— защищают они все же от ветра.

— Дошли, дошли, Гурьевич! — уже радостно выкрикнул Прокоп.

— Да, дошли! Ну, и бог с ними!.. То они, а то мы... А мы уж какими уродились, такими и умрем, Прокоп. Верно ты сказал тогда, ночью,— помнишь?.. Пускай они здесь надрываются. Ну их! Идем! Идем!

Так сказал Алексей Гурьевич, вторым человеком переселившийся в починок «Новое счастье». Он умеет обрабатывать землю, умеет вести хозяйство, знает законы. Но и он не может оторвать от своего сердца пятнадцать лет

вынашиваемую им надежду... Вот и сейчас... И вот здесь, на мыске, впервые оттолкнулся от него Прокоп Большой.

— Уйдем, говоришь? А они, вон, не боятся! И жизни своей им не жалко! Значит, есть им польза, Гурьевич, есть польза! Нет, не пойду я с тобой, Гурьевич! Иди-ка уж ты один, бог с тобой! А я, брат, останусь... я с ними. Вон гляди-ка, они уж и обратно тронулись!.. Гляди, гляди, Гурьевич! Выгребают ведь!.. Да! И якоря везут с собой... Гурьевич, а?

Но Алексей Гурьевич уже не оборачивается. Молча проковылял он вдоль берега, затем поднялся к баракам, а оттуда направился в лес, домой.

Лодка плыла обратно. Итти по ветру ей было сравнительно легко.

— Нажимай!

— Греби, греби! — кричат им люди, собравшиеся на мыске около Прокопа Большого.

Ель, стоявшая на краю мыска, вдруг сразу сорвалась и с шумом нырнула в воду, рассекая волны. Не выдержали корни, вырвались и мелькнули в воздухе, как гигантские пальцы тонущего зверя.

Рассвело. Тучи все еще стаями несутся над серым лесом. Бурлит река, взбудораженная до самого дна.

А на берегу Курьи сплавщики уже тащат крепкую оцинкованную снасть, чтобы ее железным объятием еще крепче охватить напрягающуюся под ударами волн запань.

ИЗЪЮР ИВАН

ДЕД ВЛАС ПУСТИЛСЯ В ПЛЯС

(Рассказ)

Не так давно по улицам Сыктывкара целый день шатался старик. Он был в белой шубе, черной овчинной шапке и белых новых валенках. Старик этот ходил по середине улицы, высоко запрокинув голову, и, как заметил стоящий на углу Коммунистической и Советской улиц милиционер, заходил в каждый магазин. Зайдя, он оглядывал полки с товарами и везде спрашивал одно и то же:

— Громопонта у вас нет?

— Граммофонов теперь не делают. Если нужно патефоны — вот есть.

— Потепон мне не нужен! Мне громопонт давай!

Наконец, обойдя все магазины, он остановился посреди улицы, думая, очевидно, в которую бы ему теперь сторону пойти, где же еще он не был?

А город жил своей жизнью. По улицам, торопясь, проходили люди, сновали автомобили. На перекрестке Коммунистической и Советской улиц милиционер, заложив руки за спину, важно расхаживал посреди улицы. Дед в белой шубе направился к нему.

— Мне бы райобком нужно,— робко сказал он.

— Что? — не понял милиционер.— Какой такой райобком? Может быть, который-нибудь один из них — или райком, или обком? Райобкома у нас во всем городе нет, обком здесь близко. Да тебе зачем туда?

Дед обрадовался, что нашелся хоть один человек, с которым можно поговорить более подробно.

— Громопонт надо купить!..

— Граммофон? — не поверил милиционер. — Там не продают. Надо в магазин итти.

— Да нет нигде. Там, может быть, дадут! Из склада, что ли...

— Нет, и там не дадут. А зачем тебе граммофон?

— Надо! Играет он уж больно хорошо... Плясать хочу...

Милиционер совсем опешил:

«Старый дед... райобком... граммофон... плясать...— Да что же это все значит-то?»

— Может быть, насчет налога? — заботливо спросил милиционер.

— Какой налог! Мы со старухой решили громопонт купить, а я его нигде не нашел! — уже явно жалуясь на неудачу, сказал дед в белой шубе.

— Так в обкоме же, не продают. В магазинах ищи.

— Везде уж я был. Нигде нет! Какой-то потепон предлагают. А в райобкоме, может быть, найдут. Неудобно к старухе-то с пустыми руками возвращаться.

Милиционер указал старику двухъэтажное белое здание, даже до дверей довел.

Дед очутился в длинном коридоре. С обеих сторон были двери, но он не знал, куда ему можно войти.

— Мне бы председателя... самого главного...— боязливо задержал он идущего по коридору человека.

— Прямо! — сказал тот, указав рукой дорогу.

Дед Влас,— а это и был он, ударник-конюх Вишератин

Влас из колхоза «Вын»[70],— пошел в указанную сторону и заглянул в полуоткрытую дверь.

— Тебе что, товарищ? — спросил у него сидящий за столом худощавый человек.

— Мне бы председателя...

— По какому делу? — вопрос был задан строгим тоном, и Влас даже испугался: здесь уже, очевидно, совсем ничего не выйдет.

— Громопонт мне нужен...

— Здесь, товарищ, не продают, надо итти в магазин.

— Да нет нигде в магазинах-то! Я целый день искал.

— Ничем не могу помочь. Граммофоны теперь едва ли найдутся. А ты откуда? Зачем тебе граммофон?

Строгий человек оказался не таким уж строгим. Через секунду дед Влас сидел напротив него и, говоря с ним как со старым знакомым, рассказывал:

— Понимаешь, громопонт мне обязательно нужен! Никак без него нельзя. Такая жизнь теперь сложилась. Чтобы был красивый, с большой трубой, а оттуда игра слышна. Мы бы со старухой каждый день стали слушать. Все это, видишь ли, вот как обернулось: в японскую войну я был в солдатах. Сколько лет уже вот этому исполнилось! Мы тогда стояли в Сибири. А пельдпебель у нас был такой, знаешь, с длинными усами, фамилия очень смешная была,— забыл уж я теперь-то! Очень злой, над всеми издевался. Над нами, над коми, уж особенно. «Зыряками» все обзывал. Другого имени от него и не слыхали. Все его боялись. Позовет к себе и все велит делать: дрова колоть, вещи чистить, воду носить, мусор прибирать. Если чуть что будет не по его — до конца службы запомнит. Попасть к нему все боялись. Но вот, однажды позвал он к себе и меня. Иду, а сам и думаю: «Если только дров наколоть и воды наносить — это еще полбеды, а то может ведь и по лицу надавать или с мешком песка бегать заставит». Зашел, честь дал, как полагается,

стою. Тогда каждому нужно было уметь честь отдать. Если хоть немножко не сумеешь или перепутаешь,— десять раз заставят переделать. Пельдпебель мне и говорит: «Пляши!» Я не понял, зачем ему плясать? А сказать надо, как раз у него и был этот... громопонт-то. Красивый такой, с блестящей трубой. Мы много раз видали, как он сидел возле него и заставлял плясать кого-нибудь из солдат. Это и было его веселье. Положит куда-то на громопонт черный круг, повернет какую-то ручку и будет играть, пока завод не кончится. Он мне второй раз: «Пляши!» Делать нечего — надо плясать. «Уж лучше,— думаю,— сплясать ему, чтобы себе же не навредить: ведь никогда не забудет треклятый, всегда будет вспоминать, ко всему придерется!» Ну, сплясал. Он и говорит: «Молодец!» и дает мне письмо. Из дому письма тогда приходили редко: домашние мои писать не умели. «Хорошо же,— думаю,— так вот за что, оказывается, пельдпебель-то плясать меня заставил!» Радостный пошел я в казарму, дал прочитать товарищам,— сам я тогда тоже ни читать, ни писать не умел. А из дому мне писали, что отец помер и последнюю корову за недоимки увели. Вот за что, оказывается, я плясал! Много ночей после этого я видел во сне эту пляску и громопонт этот с блестящей трубой. На весь век мне память осталась! Всю жизнь не забывал, как заставил меня пельдпебель сплясать ему, музыки с тех пор не мог слышать. А сей год, как взяли мы со старухой больше четырехсот трудодней,— столько хлеба да денег никогда еще у нас не бывало! И решили мы с ней теперь завести себе такой же громопонт, как у пельдпебеля был, чтобы он нам играл и веселил нас. Понятно теперь, почему мне без громопонта-то никак нельзя? Поставили бы мы его на стол, собрались бы одни старые да и стали плясать и слушать его игру. Жизнь теперь такая стала, что без громопонта нам никак нельзя!

Строгость сидевшего за столом человека совершенно исчезла. Глаза блестели, лицо весело улыбалось. Он куда-то вышел на минутку, принес черный ящик и открыл его крышку.

— Вот, наши советские граммофоны теперь такие,— сказал он.— Видишь? Раньше блестящие граммофоны создавали веселье только в жилищах попов да купцов, а теперь у нас у каждого такие должны быть.

Председатель облисполкома что-то повертел, поставил пластинку, и из ящика послышались такие звонкие, веселые звуки, каких дед Влас не слыхал уже давно. Все его лицо улыбалось от счастья; он не отрывал глаз от ящика и, разинув рот, слушал веселую музыку.

... Уже под вечер стоящий на углу Советской и Коммунистической улиц милиционер видел, как давешний дед в белой шубе шел мимо него рядом с председателем облисполкома и что-то быстро говорил своему спутнику. В руках у него был патефон, а председатель облисполкома нес пластинки. Милиционер приветствовал их, приложив руку к козырьку, а про себя подумал:

«Поди вот, пойми теперешних людей! Старые старики патефоны ищут да плясать хотят! А уж молодые-то люди что же тогда должны делать?»

А. П. РАЗМЫСЛОВ

МОЛОДОСТЬ

Перевод автора

I

Наша жизнь бодра,
Как это утро!
Наша жизнь светла,
Как солнца свет!
Я с зарею утренней и мудрой
Молодости нашей шлю привет!

Молодость свою я в сердце слышу,
В каждой песне — молодость моя!
Разве мы не звезд горящих выше —
Мы с тобою:
Молодость и я?

II

Разгадал свое большое счастье,—
Оттого и песней полупьян,
Что весельем дни мои украсит
Наше счастье —
Родина моя!

Наше счастье —
Молодость живая!
И когда наш Север бурей рьян,
Не ее ли волнами играет
Северный полярный океан?

Родина!
Не ты ль нам флагом рдеешь?
Говорю я всюду и всегда:
— Мы когда-нибудь,
Конечно, постареем,
Ты же —
Вечно будешь молода! —

Чтоб была всегда ты молодою —
В отдыхе, в работе и в бою,—
Мы тебе,
Страна моя родная,
Отдадим всю молодость свою!

Расцветет, как солнце,
Счастья пламень
Средь заводов и зеленых нив...
Встретимся —
И старое вспомянем,
Молодые, трепетные дни!

Родина!
Ты старость нам согреешь!
Говорил я всюду и всегда:
— Мы когда-нибудь,
Конечно, постареем,
Ты же —
Вечно будешь молода! —

ВАСИЛЬ МИКОВ

ЛУКОШКО

Старое лукошко,
Торба из бересты,
Что тебе здесь надо,
На моей дороге?

Ты своей веревкой
Шею натирало,
На груди качалось,
Что тяжелый камень.

Да ушло то время,
Тяжкое, лихое!
Мы теперь в колхозе,
Нам машины служат.

Служат нам машины,
Коллектив наш прочен.
И тебе, лукошко,
Нынче нет почета!

Уходи в сторонку,
Катись, не мешайся,
Чтоб нога быстрее
К лучшему шагала!

Сил у нас — громада!
В сердце — пламень яркий.
Рукава засучим,
Не отстанем в жизни.

Что ж, лети, лукошко,
В стороне-сторонке:
По веселой Коми
Тракторы проходят!

Грудь ее большую
Вспашут, перепашут...
Вот тебе товарищ:
Соха-раскоряка.

Встаньте, с нею вместе,
Дальше от дороги;
Хватит, отслужили,
Вам приходит смена!

Девушки, ребята
Коллективной силой
Ленинской дорогой
Весело идут!

ПЕДЬ ГЕНЬ

ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ

I

Была как раз такая пора, когда лето со своими жаркими днями уже кончалось. На колхозных пожнях росли высокие стога с душистым сеном, на полях мелкой рябью волновались золотистые хлеба, а в лесу уже поспели ягоды и появились первые грибы.

— А и хорошее у нас сено сей год убрали! — радовались сплавщики, последними возвращавшиеся домой. Они по два, а некоторые и по три раза уже успели сплавить плоты с лесом по Вычегде до Котласа, упорным трудом добились почетного звания ударников и, радостные, шагали по знакомым местам.

— Опоздали мы страдовать-то! Без нас кончают!

— Да ведь и мы страдовали на сплаве...

— Э-эх! — радостно дышат полные груди, упиваются теплым воздухом, насыщенным запахами цветов.

Уже около родной деревни сплавщики повстречались с ребятами.

— По ягоды, что ли? — заметив посудины, догадались мужики.

— Бруснику сбирать! — выкрикнул круглолицый мальчик, бежавший впереди вприпрыжку. Щечки его так и горят, как гроздья рябины, и на шее такой же яркий галстук.

— Ну, бегите, бегите, полакомьтесь!

— Да мы не для себя!

— Попу, что ли? — пошутили взрослые.

— И не попу! В Австрии буржуи расстреляли рабочих. Бруснику мы продадим в сельпо, а деньги пошлем детям этих рабочих. Да если повстречаетесь с Сеней Кузь-Кузьмы [71], скажите, чтоб догонял! Слы-ышали? — уже издали окликнул мальчишка.

— Слы-ышим!

Разошлись в противоположные стороны. Сплавщикам еще долго был слышен звонкий смех детей, бежавших все дальше и дальше, к зеленеющему вдали бору.

Вот и родная деревня, мост через овраг, бани, избы.

В деревне, казалось, все вымерло. Стояла полная тишина. На дороге в пыли купались куры; около тучной свиньи резвились поросята.

Сплавщики шагают мимо изб. Нигде никого. Завернули к церкви, вышли на полянку.

Длиннорукий мужик со сбившимися волосами сидит на земле и, наклоняясь то в одну, то в другую сторону, что-то хрипло поет. Вокруг него мошкарой вьются маленькие дети, едва еще научившиеся говорить. Они задорно дразнят сидящего:

— Кузь-Кузьма пьян, пьян, пьян! Кузьма пьян, пьян, пьян, пьян!

Кузьма перестал петь, шикнул на мелюзгу, попробовал приподняться, но пошатнулся и снова упал в лужу. Дети, стаей синичек разлетевшиеся было в разные стороны, снова собрались.

— Кузьма пьян, пьян, пьян, пьян!..

— Э, Кузьма! Именинник, что ли, сегодня ты? — спросили его на минутку остановившиеся сплавщики.

— А?.. Ч-что такое? — Кузьма сгреб ладонью грязь с лица и кинул ею в ребят. — Н-наше вам!

Кузьма снова попытался встать и снова упал.

— Дядя Кузьма, покажи нам свою резиновую ногу! Покажи, дядя Кузьма! — продолжала наседать мелюзга.— Дядя Кузьма, лягни нас, мы не пойдем жаловаться на тебя! Лягни, дядя Кузьма!

— Шышь!.. Так я лягну вас, что... Эх-эх! — Кузьма оперся руками о землю, приподнялся, шагнул несколько раз и, запнувшись протезом о здоровую ногу, к великой радости ребят свалился, как дерево. Его протез был вывернут таким образом, что пятка находилась там, где полагалось бы быть носку.

— Эх, Кузьма, Кузьма! Все на работе, один лишь ты здесь... с ребятами! Эх, ты! А ведь толковый был мужик.

Сплавщики, разговаривая, разошлись.

Кузьма молча остался лежать. Видимо, он старался осмыслить слова взрослых.

Это был мужик средних лет. Глаза круглые, красивые, черные, как березовый уголь, и, повидимому, когда-то выразительные, но сейчас порядком уже осоловевшие. Нос прямой, длинный, подстриженная щетинистая борода черная. Волосы на висках уже серебрились, как бы подернутые инеем. От носа к уголкам рта шли глубокие борозды, а множество мелких морщин переплеталось под глазами. Вся кожа лица была изрезана узором этих морщин, напоминая покрытый не менее сложным узором множества трещин осенний тонкий лед, когда по нему ударяешь обухом. Такое лицо, худое и вместе одутловатое, обрюзглое, бывает только у пропоиц, систематически пьющих водку и отказывающихся от пищи.

— Эх-ма! И пить — умирать, и не пить — умирать.

А вы и рады: Кузьма-де валяется! Нет, подождите, я еще жив! Жив еще я! — Кузьма погрозил кому-то кулаком. Крупные слезинки скатились из уголков его глаз, повисли на кончике носа и упали на грязную, заплатанную ситцевую рубаху.

В сторонке у изгороди стоял и глядел на Кузьму мальчик с такими же круглыми и черными, но испуганными глазами. Взглянув на него повнимательней, можно было сразу же догадаться, что это — сын Кузьмы. Лицо мальчика горело. Он едва сдерживал себя, чтобы не расплакаться, кусал губы и испуганно озирался, то краснея, то бледнея.

Около мальчика сидела белогрудая, остроносая собака-лайка.

Мальчик быстро развязал свой пионерский галстук, торопливо засунул его за пазуху и, словно решившись, шагнул к пьяному отцу.

— Батя, пойдем домой! Идем я провожу тебя! — умоляющим голосом сказал мальчик и взял отца подмышки, пытаясь приподнять.

— С-сенюшка! Дорогой ты мой!.. Не трогай меня... Я сам... Несчастный ты, Сеня, вот что!.. Несчастный...

— Ну, встань же, батя, встань! Мне ведь надо в лес бежать, тороплюсь очень! Вставай, вставай, батя! — быстро выговаривая слова, упрашивал Сеня, не переставая озираться на своего непокорного отца.

— Дядя Кузьма, да лягни же ты нас своей резиновой ногой! Дядя Кузьма! — не переставали дразнить его озорные ребята, снова гурьбой наседавшие с разных сторон.

Белогрудая лайка подошла к шумной группе и села.

— Да ну, пойдем, батя, домой! Ложись, поспи: вечером ведь надо в кузницу итти!

— Д-домой? — наконец встал Кузьма.— Не пойду я домой. Зач-чем домой?.. Мы п-пойдем к Пантилю, С-сеня! У него, у паразита, всегда есть водка! Душу с него выну, если не опохмелит!.. А это еще кто? Тоже паразит твой?

Пьяными глазами Кузьма уставился на собаку и даже замахнулся на нее. Лайка оскалила зубы и, сердито ворочая белками глаз, отошла в сторону.

— Р-р-р...

— У-у, смерть проклятая! Убью когда-нибудь!..

Отец с сыном потихоньку пошли прочь от церкви. Кузьма, не переставая бормотать, неуклюже пошатываясь, ковылял рядом с мальчиком, грузно навалившись ему на плечо.

Изба Кузьмы — в самой середине деревни. Старенькая, с покосившимся крыльцом и почти плоской крышей, над которой возвышается труба, сооруженная из ржавого ведра с выбитым дном. Но Кузьма направился не к себе, а неожиданно свернул в сторону. Там, на краю оврага, среди красивого огорода, между двух огромных елей стоит небольшой, но хорошенький домик с тесовой крышей и крашеными косяками окон, похожий на аккуратно выточенную игрушку. По двору бегают два теленка. На верхней ступеньке крашеного крыльца с коньками по углам сидит сам хозяин, важно запахнувшись в полушубок,— даром что теплынь была.

— Вишь, разбегались, глупые! И хвосты торчком, хе-хе,— сам с собой разговаривал хозяин, ухмыляясь от избытка довольства. Его сегодня все радовало: и теплая, погожая погода, и аккуратное свое хозяйство, и прыгающие телята... Радовало и то, что вот другие, колхозники, на пожнях работают, а он здесь, у себя дома. И никто ни слова не смеет сказать ему.— Хе-хе!..

— Эй, Пантиль, встречай гостя! — стуча в калитку, закричал Кузьма.

Сеня понял, что теперь уже никакая сила не оттащит его отца от этого домика, и, постояв немного в выжидательной позе, повернулся и пошел прочь. Едва скрывшись из виду, перешел он на бег и через минуту был уже за околицей, несясь среди колышущихся хлебов по направлению к бору. Впереди его мчалась белогрудая лайка.

Пантиль, кряхтя, встал. Выражение его лица моментально изменилось на злое и сердитое.

— Опять он! Вот навязался-то, гость непрошеный!.. Ах ты, господи! — Спустившись на землю и ворча что-то себе под нос, направился хозяин к калитке.— Аль заблудился, Кузьма? Кажись, не домой пришел. Какой шум поднял!

— Открой, пока не разнес! Разве не узнаешь меня? К тебе пришел!

— Ну, пришел, и слава богу. Что ж, заходи, коли так.

Продолжая ворчать, хозяин открыл калитку и впустил Кузьму. Он был явно недоволен тем, что прервали его лирическое настроениие. Только что он радовался: сам хозяин, никто ему слова не скажет, а тут — на тебе! — хочешь не хочешь, принимай гостя.

— Заходи, блудный сын, что уж поделаешь с тобой! И на самом ведь, пожалуй, деле, правда еще разнесешь.

Пропустив Кузьму, Пантиль выглянул за калитку и, убедившись, что поблизости никого нет, стал разговаривать с пришедшим уже гораздо мягче.

— И зачем это ты такой шум подымаешь, Кузьма, а? Орешь на всю деревню! Сегодня, чай, не праздник, день рабочий, и совсем это не хорошо так шататься у людей на глазах!.. Поспал бы ты еще малость, а вечером работать будем. Машина, вишь ты, сломалась. Приказ есть — к утру чтоб готова была. Истинный господь, не вру!

Пантиль провел Кузьму под навес.

Пантиль — колхозный кузнец, мужик небольшого роста, толстенький, пухленький, как беременная баба, с непропорционально большой головой и волосатым лицом. Пальцы его с круглыми черными ногтями кажутся приплюснутыми. Ниже затылка на шее большой нарост-опухоль, величиною с детскую голову; поэтому, когда Пантилю нужно взглянуть в сторону, он повертывается всем туловищем или скашивает свои выпуклые глаза.

— Опохмели, хозяин! — уже тихим голосом попросил Кузьма. Как только зашел он во двор, воинственность его сразу исчезла, уступив место сонной вялости и полной покорности. Теперь он смирно сидел на новеньком тарантасе, опустив глаза и просунув руки между коленями, как бы грея зазябшие ладони.

— Как же это так, без конца опохмелять, что ли тебя, друг? Припомни сам, еще вчера уступил тебе...

— Да уж нет и ее...

— Нет и не надо. Выпил, значит, и ладно. А больше нет у меня, истинный господь, не вру!

— У тебя всегда есть! — Слезящиеся глаза Кузьмы уставились в сторону. После небольшой паузы он снова стал просить Пантиля, но уже на этот раз таким голосом, в котором сразу чувствовались и злоба и неуверенность.

— Да ведь стопку только одну, только стопку, лишь бы огонь в груди залить.

— Сегодня стопка, завтра стопка,— глядишь, друг, и набежит литровочка-то. Я обещался тебя кузнечному делу обучить, а стопками снабжать как будто не обещался. Верно? А то смотри: если подсчитать, то уже одну овечку следует тебе привести, друг, вон туда,— поворачиваясь всем туловищем в сторону телятника, пальцем указал Пантиль.— А то приводил ты собаку, а она сбежала, треклятая. Перегрызла веревку и сбежала. А стопочки-то ведь выпиты! Вот ведь какое дело-то!..

— Ладно, рассчитаемся! Не последний день живем! Ну вот, хоть бы в кузнице тебе подработаю... А, да подавись ты своей стопкой, паразит! — вдруг затрясся Кузьма.

— Ай, как ты некрасиво ругаешься! Не по-божески живешь, друг,— вот оно и выходит... Ну, ладно, ладно, схожу уж... Может, и найдем... стопку-то.

Пантиль прошел между грядами картофеля к бане, прогромыхал замком и зашел, снова закрыв за собой дверь.

Кузьма сидел, не шевелился, закрыв глаза. Лишь мертвенно-синие губы шептали:

— Эх, Кузьма, Кузьма!.. Пропащее твое дело, Кузьма!

По двору продолжали бегать гладкошерстые телята. Разыгравшись, они щипали зелень, прыгали и мычали.

Две ели слегка шевелили свои лохматые ветви.

Смолистый запах хвои расплывался от них далеко за пределы аккуратного и чистого домика кузнеца, казавшегося лучшим свидетельством о достатке вкрадчивого Пантиля.

II

Уже заходило солнце, когда ребята направились домой. Сегодня они богато набрали ягод,— у всех объемистые лукошки полны.

Да и не удивительно: в лесу брусники — красным-красно, хоть лопатой огребай. Бор большой и гулкий.

— Ау! — крикнула Саня, лучшая певунья в звене.

— А-у!

— У-у!..— со всех сторон откликнулся бор.

— А я знаю, что это такое! Дедушка говорит: так эти дразнятся, которые за деревьями прячутся, кого и называть-то в лесу не годится.

— Ну, да-да! — засмеялись ребята на такое объяснение. Начали спорить, кто что знает, но как раз в это время Вьюн навострил уши, перестал играть хвостом и приготовился кинуться на кого-то. С противоположного конца полянки показался длинноухий заяц-русак.

Не успели еще дети понять как следует, в чем дело, как Вьюн уже разразился громким лаем и помчался за зайцем.

Заяц и собака исчезли. Доносившийся сначала по временам лай постепенно стал затихать и удаляться.

— За зайцем кинулся! — послушав, заключил Сеня. Задумчивые глаза его оживились, по лицу скользнула улыбка, похожая на бледный луч солнца, прорвавшийся сквозь тучу.— Только на зайца так лает Вьюн: ав-ав! А на белку не так: ув-в... ув-в! тягуче...

— Зайца он не догонит,— заметила Саня.— Дедушка говорит: заяц через деревья может прыгать.

— Ого! Заяц не лев! Вот лев, говорят, действительно, прыгает,— авторитетно заявил круглолицый мальчик Игорь, вожатый звена.

— И тигра, говорят, прыгает...

— Видел?

— Из книги читали нам. Тигр здесь не живет, ему холодно, не привык.

— А мой дедушка шесть медведей убил! — хвастливо сказала Саня.

— Говорят, близко около нашей деревни медведь живет большой. Во какой! — таким таинственным голосом протянул Игорь, что невольно все оглянулись.— Очень большой! В Горелом лесу жеребенка задрал. А позавчера в телятнике у лучшей колхозной коровы вымя отодрал. Во силища-то!

— Ой-ой! — Саня испуганно забилась в самую середину группы.

Солнце скрылось за деревья. В бору стало темно и жутко. Лесные звуки, казалось, принимали какую-то особую мягкость и таинственность.

— Постойте-ка, что я вам расскажу,— после непродолжительной паузы начал Игорь.— Позавчера моя мама с бабами ходила за реку за малиной. Там, за рекой, этой самой малины да смородины видимо-невидимо! Собирали-собирали да и наткнулись на Мишку-медведя. Оказывается, и он лакомился. Бабы испугались, кинули чуманы и разбежались. А мою маму он остановил. Фыркает, когтями шаркает, пугает. А глаза, говорит, такие малень-

кие,— меньше моих,— да злые. Уже после под мхом очнулась мама,— он ее так закопал.

Изредка обмениваясь словами, ребята шагали по лесной тропинке, за день успевшей нагреться, как печка... Приятно босым ногам на теплом.

— Если заплесневелый хлеб скушать, тогда медведь не пойдет навстречу. (Это Саня.)

— Дедушка твой сказал?

— Ну да, дедушка.

— Он тебе наговорит! В прошлый раз тоже стал нам врать: проснулся я, говорит, утром, а борода и усы к одеялу примерзли. Туда голову ворочаю — не повернешь, сюда ворочаю — тоже. Пришлось, говорит, старуху просить, чтобы горячей водой обливала, пока не оттаяла борода от одеяла. Врун он у тебя, вот что!

Ребята посмеялись, но мысли о медведе не исчезли.

Бор закончился крутым обрывом. Внизу — речка, за ней мелкий лесок, затем огороды и уже у самого горизонта — первые избы.

Ребята повеселели.

Сеня обернулся в сторону бора и начал звать свою собаку:

— Вьюн, Вьюн! Сюда, Вьюн, сюда!

Звонкий мальчишеский голос спугнул тишину; с корявой сосны поднялась какая-то птица и, как тень, пронеслась над головами.

Вьюна Сеня выращивает вот уже два года. Он его нашел в ручье за баней. Кто-то кинул туда белогрудого щенка и ушел, не интересуясь, что будет с ним дальше.

Сеня поднял щенка, обтер полой рубашки, согрел теплом своего тела, затем поселил в предбаннике.

Когда выпал первый снег, за мальчиком уже бегал лохматый щенок, вызывавший у товарищей-ребят большую зависть к счастливцу — обладателю собственной собачки. Чем дальше, тем красивее становился щенок.

Большой живот стал исчезать, шерсть сгладилась, морда заострилась. Щенок превратился в красивую коми-лайку.

— Па-ра-зит! — обозвал отец Сени при первой же встрече Вьюна, замахнулся на него и больно ударил гибкой вицей. И с тех пор между ними открылась упорная и тихая война. Вьюн видел в Кузьме врага и при встречах с ним старался побыстрее исчезнуть, а когда подрос,— начал огрызаться и жутко ворочать белками глаз. «А ну-ка, мол, попробуй!» — как будто хотел он сказать своим видом в такие минуты.

Сеня сильно полюбил своего питомца. Они почти никогда не расставались.

Как-то раз Сеня, глядя Вьюну в умные глаза, сказал:

— Давай, брат, будем мы с тобой учиться!

И началась довольно трудная для собаки наука.

Нужно было научиться ловко прыгать через обруч. Первое время никак не получалось: либо не перескочит, либо кувырком перелетит и больно упадет на спину. А Сене смешно, радостно, просит повторить.

Больше всего Вьюну нравилось быть разведчиком или санитаром. Эта игра, действительно, была целой наукой.

Если скажет Сеня:

— Пс-т! — надо растянуться и ползти на животе.

А если скажет:

— Сьта! — надо моментально встать и стрелой помчаться в указанном направлении.

— Ты, Вьюн, разведчик, помни! А разведчик должен быть зорким, смелым! И, главное, чтоб тебя не заметили! А то заметят, пальнут — вот тебе и вся «премия».

Лишь один раз пришлось расстаться им, но и то не надолго. Спившийся Кузьма, не находя что бы такое снести Пантилю, потащил Вьюна. А Пантиль давно уже мечтал о собаке позлее: ни днем, ни ночью не чувствовал он себя спокойным. По ночам все время прислушивается, не ломает ли кто замок на дверях бани.

Но недолго служил ему Вьюн. На третью ночь перегрыз веревку и сбежал.

— Вишь, смерть проклятая, уже вернулась! — удивился Кузьма. Попробовал было поймать, но где там! Пришлось махнуть рукой и делать вид, что он не замечает собаки.

Ребята спустились к речке и зажгли костер.

Теплая осенняя ночь окончательно проглотила плавающие в небе оранжевые тучки. Бор молчал, как будто в волшебном сне, и лишь журчание воды сливалось в тихую и нежную мелодию.

Ярко горит сухой костер. Клубы дыма поднялись над обрывом, затем расплылись и нависли над водой.

Хорошо прыгать через костер. Отступишь шага на два, размахнешься и промчишься над огнем Но смотри, не оступись! Если поскользнется нога,— ой-ой! — опалишься, как картошка.

Попрыгали ребята вдосталь, затем сели вокруг костра, и Саня запела. К ее голосу пристал другой, затем следующий, сложились в стройные аккорды, подняли песню высоко над обрывом и пустили звенеть над затихшим лесом.

— Ну, и рассмешил нас вчера Кузь-Кузьма! — Саня встала и начала показывать, как шатался Кузьма.— Вечером пришел на вечеринку и давай ковылять на одной ноге: вот так, да вот этак, вот этак... Ну, и рассмешил!

Сеня, сдерживая дрожь в руках, пошевелил костер; тучи искр взметнулись кверху, переплетаясь в причудливые узоры. Затем вдруг резко бросил в огонь свою палку, быстро встал и отбежал к дереву. Ребята расслышали звуки приглушенного рыдания.

Опешили. Замолкли.

— Сеня!

— Сенюшка!

— Се-ень!

Сеня прижался лбом к коре пихты и плакал. Обидно ему, очень обидно, очень!

— И вы... тоже! Тоже...

— Сенюшка, обидели мы?

— Честное пионерское, больше никогда! — искренне, сгорая от стыда, шепнула подошедшая Саня. Ребята почти насильно привели обиженного товарища, посадили к костру, Саня дала свой платочек — лицо обтереть.

Громко шлепая лапами по воде, через реку переплыл Вьюн, отряхнулся и промчался к ребятам. Пробежал вокруг огня, ткнулся было к Игорю своей мокрой мордой, затем сел рядом с Сеней.

— Обидно, Сеня?

— Обидно... У вас отцы настоящие! И мама моя тоже настоящая, два раза премировали. А батя вот пьет... Да ведь это потому, что болезнь у него. Семь месяцев страдал в окопах... А теперь вот все над ним смеются... и вы тоже.

Скопившееся в сердце горе вылилось в простых детских словах. Вылилось — и сразу как будто легче стало.

— Не рассердился на нас?

— Нет. Прошло. А я ведь тоже не виноват! Всегда говорю ему: не пей, батя, брось! Когда трезвый — молчит, а напьется — одуреет! И мамы не слушается, вот...

— Ладно, Сеня, забудь это! Поможем тебе, а смеяться совсем не будем, честное пионерское!

— Верю,— шепнул Сеня. Последние, уже радостные, слезы скатились у него из глаз. Заплаканное лицо его было озарено светлой улыбкой, и казалось,— это после крепкого дождя начинает играть на небе яркая семицветная радуга.

III

В году наикрасивейшая пора — это страда: время сенокоса и жатвы. Хоть работать в это время и приходится

наиболее напряженно, а все же хорошо. Летний день, говорят, зиму кормит.

Был как раз один из таких дней. Ветерок поддувал, мелкие облака то сходились, то расходились. Воздух чистый, безо всякой дымки на горизонте.

— Вот еще бы денька четыре таких! — выпрямившись, чтобы отдохнуть, говорили колхозники, работавшие на полях, и зорко глядели на синее небо. Погода обещала быть устойчивой.

Зачаровать способен артельный труд! Стрекочут жатки, перекликаются голоса, скрипят доверху нагруженные золотыми снопами телеги... Временами слышна песня голосистой молодухи.

И вот, в самый разгар такой работы, около полудня, а может и немного позже, неожиданно и жутко заговорил колокол:

— Бо-ом!

— Бо-о-ом!

— Бо-о-о-ом!..

Упругой волной перехлестнулись за деревню медные звуки, дошли до полей и бурей промчались над головами колхозников.

— Бо-о-ом!

Заговорил уже несколько лет молчавший колокол. Заговорил не торжественно, как бывало прежде, когда сзывал на молитву в церковь, а торопясь, еле успевая выдерживать паузы между ударами.

Попы не дураками были! Такие колокола заказывали для своих церквей, что хоть залезай под них да и танцуй там. А как ударят, так мертвый вздрогнет, глухой услышит.

— Горим!

— Го-орим! — пронеслось по полю, всполошило оцепеневших было колхозников.

Кто забивал кол для суслона [72], сразу оставил свою ра-

боту. Работающие на жатках повскакали с мест, отпрягли лошадей и что было сил помчались в деревню. У женщин платки сбились, волосы треплются по ветру. Бегут бабы, подобрав подолы. Спотыкнутся и упадут, встанут и дальше.

Людей с поля,— как ветром сдуло.

И звено пионеров тут же на полях находилось: колосья обирали. А как вся масса колхозников кинулась к деревне, так и они помчались вслед за ними.

Первым к церкви добежал Сеня — недаром он бегает, как олень.

Смотрит: людей — что комаров на болоте! Кричат, волнуются, друг друга спрашивают, а никто толком сказать не может.

— Эй, кто там звонит!

— Стащите на землю чорта кудлатого! Эй!

Сеня, как блоха, вертелся в толпе. Даже на дерево вскарабкался, чтобы лучше видеть.

На колокольне, широко расставив ноги, стоял Пантиль и, ухватившись за веревку, раскачивал тяжелый язык колокола. Сеня сразу узнал кузнеца по его волосатому лицу.

Без шапки, в распахнувшемся полушубке, Пантиль, не глядя на толпу, продолжал бить в набат; затем неожиданно отбросил веревку и, обернувшись к мужикам, поднял правую руку.

— Граж-да-не! — гаркнул раздельно он.— Человек пропал! Истинный господь, как в воду канул! Пошел в лес за грибами да и не вернулся... Слышите меня, граждане?

Сеня заметил, что на колокольню уже полезли члены правления колхоза. Они что-то спрашивали у кузнеца, а тот, оглохший от звона, продолжал орать тем же зычным, тугим басом:

— Что?.. Разве не слышали еще? Я уже и сельсовету сообщил! Там и велели звонить. Истинный господь, там!

Может, поможет... А? Кто пропал-то? Да Кузь-Кузьма! Кузнец наш колхозный! Как же я буду без него работать-то? Никак невозможно, граждане! Надо искать. Ис-кать надо. Всем обществом, граждане!

Как только услыхал Сеня про отца,— словно оглох. Ему показалось, что он видит какой-то страшный сон. Но народ шумел,— значит, это был не сон.

Отец, действительно, второй день уже пропадает где-то. Но ведь он так уже не впервые исчезает. Погуляет где-то два-три дня и снова заявится.

Сеня вспомнил разговоры с ребятами про медведя, и у него дух захватило. Зажмурил глаза и ярко представил себе дремучую чащу леса, а в ней — растерзанный кровавый труп отца. Вот рядом и сам Мишка-медведь неуклюже пробирается через чащу, и вся его морда в человеческой крови.

— Из-за какого-то Кузьмы паршивого не стоило бы и подымать такой шум! — уловил Сеня разговор мужиков, стоявших под деревом, на котором он сидел.

— ...А у меня и волосы дыбом встали: подумал — горим. Погода-то вон какая. Кругом все, как порох.

— ...А все же человек был. В беде оставлять нельзя. Да и кузнеца своего готовили. Ведь Пантиль-то он... то-то... не нашей, значит, партии.

— Известно!..

Колхозники постепенно расходились, но на поле возвратились уже только немногие.

— Что, батька твой исчез, что ли? — спросил Игорь у Сени, дотронувшись рукой до его ноги.

— Да, мой,— задумчиво вымолвил Сеня и начал слезать с дерева.

— Сеня, сегодня мы в дозоре... Не забудешь?

— Нет... Приду.

Не доходя до своей избы, Сеня остановился под широко раскинувшейся березой. Ему было страшно заходить домой, где мать, вероятно, уже ручьем разливалась.

Ветерок шевелил ветки березы, из огородов веяло запахом конопли. Жужжали шмели.

По дороге шли две босые женщины. Сеня сначала не обратил на них внимания; затем случайно долетевшее слово дошло до его сознания и заставило насторожиться:

— Ягод-то, ягод в лесу, Марина! Страсть сколько!

— Уж и как мне охота посбирать, как охота!..

— Люди — те умеют. Мы вот работаем, а которые умные, те себе ягоды и грибы собирают на зиму. Придет зимушка студеная, они будут лакомиться, а мы вздыхать да слюнки глотать.

— А что ж мы, богом, что ли, наказанные? Возьмем чуманы и пестерь и в лес. Идем?

— Идем, Марина!

Женщины ускорили шаг и через минуту скрылись за поворотом.

А Сене вдруг почему-то стало тяжело и как будто немного стыдно чего-то,— точно он в чем-то провинился.

IV

Обширны и богаты колхозные поля. Незаметно спустилась над ними ночная тишина. Кругом ни звука. В сумраке ночи еле заметны суслоны: стоят правильными рядами, как часовые.

Невдалеке бежит река. Трепещут ивы, купающие свои ветки в воде. Ночная прохлада поднялась от реки и поползла по полям, оседая на них крупной холодной росой.

К полуночи небо стало заволакиваться тучами.

Трое ребят, как тени, ходят между суслонов. То сойдутся, то вновь разойдутся. С ними собака.

Вот они опять сошлись. Присели у суслона, что стоял возле дороги, и начали полушопотом продолжать, очевидно, прерванный разговор.

— Ну, а если вот и правда исчезнет твой батя, очень тебе жалко будет, Сеня?— спросила девочка, теплее закутываясь в материнскую шаль.

Сеня затянул поверх своего полушубка ремень, глубоко вздохнул и, глядя в сторону, словно бы нехотя сказал:

— Жалко, Саня. Он ведь хороший, когда не пьет. А мамка целый вечер плакала. Говорит, не простившись, исчез; может, больше и не увидим.

— А в лесу-то сейчас ведь темно! Бате твоему, наверно, страшно,— глядя в сторону леса, тихим голосом, как бы про себя, сказала девочка. Она вынула из-за пазухи краюху хлеба, присела на корточки и, как зайчик, начала откусывать от угла передними зубами.

— Прошлым летом вот так же вот неизвестно куда исчез и мой дядя. У него была такая рыжая, рыжая борода,— немного помолчав, стал рассказывать Сеня.— С сыном, с Ванькой, лошадь искать пошли. Ночь застала. А погода такая нехорошая была,— ветер с севера и дождь. К ночи, как из ведра, полило. Так стемнело, что ничего не видать. Только слышно: гудит лес, скрипят деревья. Брели они, брели, да и разошлись; потеряли друг друга. А и страшно же было! Ваня-то говорил потом,— это сын рыжего дяди,— он уж плакал, кричал, кричал в лесу. Место незнакомое, все время шел ощупью, а и сам не знал куда. И лишь, когда светать стало,— увидел, что подошел чуть ли не к самому дому. Не заблудился. А отец его так и исчез, и теперь не знают, где он. Искали, искали — нет нигде. Лишь шапку его нашли. Все тогда очень удивлялись,— куда же это он исчез? Говорили, что судьба ему такая, а уж от судьбы не убежишь.

— Болтают! — серьезно заметил Игорь. — Никакой судьбы нет, в школе я спрашивал.

— А почему же вот Ваня, мальчишка, домой пришел, а отец его, хоть взрослый человек, а заблудился?— спро-

сила Саня, с большим интересом слушавшая рассказ Сени, выглядывая из своей шали.

— Почему?.. Да так уж случилось. А могло бы и наоборот быть: отец мог выйти, а сын заблудиться.

— А почему же не так вышло?

— Почему не так? А я откуда могу знать, почему? Каждый год кто-нибудь или тонет, или еще как-нибудь по-другому умирает. Если бы не умирали люди, а все жили и жили, тогда бы вся земля переполнилась, жить бы негде было.

Больше этого не смог объяснить Игорь.

Ребята смолкли.

— Когда дедушка рассказывает сказки, я всегда вся дрожу — до того боюсь. Он всегда страшные сказки рассказывает,— перестав есть, снова заговорила девочка. — Дедушка говорит: в ночь на пасху еретники [73] прилетают грызть колокола.

— А ты ему не верь,— вот и не будет страшно. Он все врет. Сам не видел, а рассказывает. Пионеру стыдно верить таким сказкам, Саня!

— А ты не боишься?

— Ну, конечно!

— И ночью около церкви пойдешь?

— Пойду.

— И в овин зайдешь?

— Зайду. Вот глупая!

— А вот ты мне скажи, кто же это колосья у нас стрижет с полей? Дедушка говорит: это нечистая сила так рвет колхозный хлеб. Без молитвы посеяли,— вот и рвет она, не боится. А еще говорил дедушка, что такой хлеб когда будешь есть — ни за что не наешься.

— Ха-ха-ха! — не мог сдержаться Игорь и громко рассмеялся; затем спохватился и заткнул себе рот рукавицей.— Ну, Саня, и глупая же ты! Если мы здесь будем дремать да сказки слушать, тогда, конечно, настригут ко-

лосья. Завтра поговорим еще об этом. А теперь обойдемте поле. Сеня с Вьюном пойдут к реке, а мы с тобой прямо до конца пройдемся. Ну, пошли, что ли, ты, дедушкина внучка!

Шуршит солома под ногами. Задумчиво шагает Сеня, по временам кидая взгляды в сторону темного леса. И чудится ему, что где-то там в лесу бродит его отец, кричит, зовет, а, может, и плачет. Там где-то, там он, только не знает никто, как выйти ему к дому.

С такими мыслями шел Сеня со своим Вьюном, не забывая, однако, следить за полем. Он помнил свою основную задачу — зорко беречь колхозный хлеб. С некоторых пор стали замечать колхозники, что кто-то стрижет их колосья. Но кто? Чья рука смеет это делать?

Стараясь прогнать дремоту, Сеня туже подтянул ремень и зашагал еще быстрее.

Вдруг Вьюн, бежавший впереди, остановился. Его уши встали торчком. Вьюн готов был кинуться куда-то вперед.

— Пст!.. Пст!.. — чуть слышно свистнул ему Сеня. Вьюн понял, присел к земле. Так они с минуту прислушивались к малейшему шороху. Сеня искал глазами: что же это так встревожило Вьюна? Собаку ее слух и глаза никогда не обманут. Что-то такое должно быть. Но в ночном мраке трудно разобрать, что именно. Едва заметными черными силуэтами вырисовываются суслоны: как стояли, так и стоят рядами.

Сеня вдруг вспомнил вчерашнее. Пионеры заходили в правление колхоза. Председатель колхоза — отец Игоря,— посадив ребят вокруг стола, шутил, а затем уже серьезно сказал:

— Ну, так вот что, ребятки! Вы хорошо сделали, решив помочь колхозу. У нас, правда, на полях и свои сторожа имеются, но ведь к каждому суслону человека не поставишь. А ночи теперь темные. Мы вашей помощи очень рады. Я лично не сомневаюсь, что наш хлеб

ворует классовый враг. Поймаете его — будете молодцами!..

Вспомнил Сеня теперь этот разговор — и дух заняло. Он не раз слышал на собраниях речи, в которых почти всегда упоминался классовый враг. Но в жизни, как казалось ему, все люди будто бы одинаковы. На лбах ведь не написано, кто друг, а кто классовый враг.

А вот здесь, на поле, здесь этот человек, который ворует колхозный хлеб,— он-то уж, конечно, классовый враг. Вот, поймать бы его да отвести в сельсовет. Пусть посмотрят колхозники, кто он такой.

— Пст! — Сеня тихонько присвистнул. Вьюн привстал и уверенно пошел вперед. Перебегая от суслона к суслону, они постепенно приближались к реке.

Внезапно вдали мелькнули две черные тени, едва заметные в темноте. Одна высокая, другая на целую голову ниже. Обе передвигались бесшумно, видимо, не замечая дозорного с его собакой.

Вглядевшись пристальней, Сеня заметил, что длинная тень двигается, как-то странно прихрамывая. Он хотел криком остановить идущих, но в это время длинный споткнулся и громко выругался. Вьюну это послужило сигналом. Он отчаянно залаял и пулей бросился в погоню.

Услыхав собаку, ночные тени испуганно метнулись в разные стороны. Вьюн погнался за человеком меньшего роста. Сеня моментально сообразил, что ему теперь следует настичь другого, длинного. Этот бежал прямиком к реке, попрежнему как-то странно прихрамывая на одну ногу. Сене показалось что-то знакомое в его фигуре. От этой мысли его кинуло в пот. Не отдавая себе отчета в том, что делает, он крикнул, задыхаясь от быстрого бега:

— Отец!

Это слово у него вырвалось само собой.

— Отец, остановись!

Спотыкающаяся фигура продолжала бежать, очевидно, стремясь выбраться за пределы поля.

Теперь Сеня ясно различал на его спине мешок, который раньше казался уродливым горбом.

Но каким образом здесь очутился отец?

— Отец! Отец! — все тем же резким голосом кричал Сеня.

Вдали показалась изгородь.

Сеня остановился. Что делать дальше? Звать на помощь или продолжать преследовать? Между тем Кузьма уже добрался до изгороди, перекинул через нее свой мешок, мягко шлепнувшийся на землю, вскарабкался сам и, готовый в любую минуту перекинуться на ту сторону, наконец остановился.

— Отец!

— А, это ты, несчастный! — тяжело отдуваясь, промолвил Кузьма, на мгновение прислушался и затем снова сердито кинул в сторону сына: — Вон, гадина твоя бежит, держи ее! Кинется на меня — убью!

Едва он успел закончить фразу, как Вьюн уже был около изгороди, и если бы Сеня не схватил его за ошейник, то Кузьме пришлось бы почувствовать на себе его зубы.

Вьюн рвался, зло рычал и готов был вцепиться в горло противника.

— Как же ты... здесь, батя? — спросил Сеня у отца. Они теперь находились почти рядом.

— Ишь ты, сопливый, все знать хочет! — наклонившись, выдохнул Кузьма, и по запаху водки Сеня догадался, что отец пьян. — Вот тоже выдумали — ночью с собакой гоняться за людьми! Не спится тебе, что ли, несчастный ты? Черти тебя таскают, где не надо!

— А тебя в лесу ищут, — словно куски вязкой глины, выталкивал языком Сеня изо рта непокорные слова.

— Ха-ха! Ну что ж, — зло рассмеялся отец, — если

нравится им — пусть себе ищут на здоровье. Я их не просил...

Жутким холодом повеяло на сына от этого смеха. Сердце его оледенело, как будто мертвец схватил его в свои цепкие руки.

Неужели же это его отец? Да полно! Может быть, все это только сон, жуткий сон?

— Уходи домой да смотри — не болтай никому! А не то — будет тебе крапива! Коли язык у тебя окажется длинным,— вниз головой повешу. Уходи, несчастный!

Отец обеими руками охватил свой протез и, кряхтя, начал перебрасывать его через изгородь.

Один лишь миг, одну секунду глядел сын широко раскрытыми глазами вслед отцу, затем встрепенулся, точно просыпаясь от сна, и, зажмурившись, выкрикнул то, что до сих пор боялся кинуть ему в лицо.

— Отец, ты вор! Вор!— пронзил ночную темь острый крик мальчика.

Что-то горячее поднялось от груди к голове, ожгло мозг, заволокло сознание. Уже падая в черную пропасть, смутно уловил Сеня злой лай собаки, перешедший в постепенно замолкающий визг.

— На ж тебе, окаянная, получай свое!

Это были последние слова, успевшие дойти до сознания мальчика. Дальше он ничего уже не помнил.

V

Все достопримечательности любой старой деревни сводятся к часовенке или церкви да к баням, расположенным обычно по краям оврагов, за избами. И теперь еще стоят эти почерневшие, прогнившие памятники такой же черной и гнилой, ушедшей навсегда жизни. Много мыслей будят они в прохожих. Как по музейным экспонатам,

можно по ним мысленно представить себе эту старую, сгнившую жизнь, самые следы которой, и те постепенно исчезают из наших дней.

Лепятся они, эти баньки, по краям оврагов. Стоят они у ручьев, наспех срубленные, иные с предбанником из гнилых досок или жердей, как будто в деревне, окруженной дремучим бором, не хватило лесу, чтобы срубить настоящие бани. Если банька с окном, то и окно это — одно лишь горе; не окно, а мутный, слезящийся глаз столетней старухи.

Когда бани топятся, по деревне плавает горький дым; першит в горле, ест глаза. Дым из каждой бани выходит через все имеющиеся в ней отверстия, ибо трубы здесь не полагается. Идет он и через двери, и через пазы, и через окно. Незнакомому с нашими обычаями может показаться, что бани горят. И ведь мылись же в свое время в таких банях! Да, живуч человек, приспособляется ко всяким условиям!

Почти все бани в старой нашей деревне бывали именно такими. Лишь у очень немногих имелись трубы, и в этих банях можно было мыться не среди копоти и не на соломе, как в хлеву, а так, как полагается мыться в приличной бане.

Но, очевидно, большинство не в состоянии было пользоваться такой «роскошью», хотя среди коми все страстно любят париться: зимой, проработав на морозе,— чтобы согреться, а летом, пропотев до ниточки на сенокосе,— чтоб остыть.

А слыхали ли вы когда-нибудь, чтобы у бани еще и голбец был? Некоторым покажется даже смешным это: у нас, мол, у некоторых и в домах нет голбцов, а тут — баня. Ей-то к чему голбец?

Однако же, вот она перед вами, баня, похожая на игрушку,— небольшая, красивая, с просторным предбанником, с плотной дверью, которая запирается на огромный за-

мок. Видать, хозяин любит помыться, а чтобы люди не занесли заразу в его мыльню,— крепко ее запирает.

Эта баня принадлежит Пантилю...

Перебравшись через лог, прямиком через огороды, по задворкам Кузьма добрался до этой бани. Прильнув к ней, он долго оглядывался и прислушивался. Но тишина была глухая, полночная. Лишь слышно было, как ручей бежал по дну оврага, мурлыча, словно засыпающий котенок.

Сердце громко стучало. Кровь огненными струями металась по телу, звенела в ушах. Холодный, липкий пот сбегал с лица и со спины.

— Отец, ты вор! — не переставало звучать в его ушах. Лишь когда он немного отдышался, это звучание как будто стало постепенно стихать.

Сердце успокаивалось. Кровь остывала. И только теперь Кузьма почувствовал тупую боль в икре своей левой ноги. Спустив мешок на землю, наклонился и пощупал болевшее место. Эге! Штанина разорвана, к пальцам пристало что-то липкое. По терпкому запаху догадался — кровь.

Кузьма хорошо помнил: он не ударил сына, а лишь замахнулся на него. Может быть, он и ударил бы, но в это время на него кинулась собака и схватила его за икру. Спасаясь от неожиданного нападения, Кузьма несколько раз ударил собаку по спине (как нарочно, под руку подвернулась палка). Вьюн завизжал, завертелся и оставил его.

Боль в икре усиливалась, поднимаясь все выше и выше. Уже кусая губы, Кузьма через силу стукнул в стену бани, кряхтя, перелез через изгородь и, хромая на обе ноги, дотащился до дверей.

— Это ты, Кузьма?

— Я... Убери эту гадость,— кинул в предбанник свой мешок; не глядя на Пантиля, сел на лавку и глухо вымолвил:— Водки!..

— Готово, пожалуйста! Тебе нынче, действительно, следует подкрепиться.

Кузьма сидел, закрыв глаза, как во сне слушая шопот Пантиля и его возню.

— А ты думаешь, колхозные хозяева не воруют? Глупый ты! Хлеб — он ведь не на каждом дереве растет! Хлеб, брат,— это все. Война будет, люди голодать будут,— а ты нет. А что война будет,— вот тебе истинный господь, будет. Опять будут реквизировать у крестьянина!.. В девятнадцатом году у меня вот так-то реквизнули тридцать пудов хлеба. А ведь это что же,— целое богатство! И спасибо даже не сказали. Ну, а теперь у нас не девятнадцатый год, не обманешь! Дураков пусть ищут, пусть ищут, хе-хе...

— Водки!..

— Даю, даю! — возился Пантиль.

Теперь он был похож на большого кота. Со сверкающими глазами бесшумно передвигался он по бане. На опрокинутый ящик поставил бутылку самогону, капусту, пару чашек, налил их и протянул к Кузьме свою мохнатую лапу.

— Пей да не тужи, наживем с тобою новые гужи! Колхоз — он, знаешь ли, не надолго. Растащат все, разворуют да и разойдутся. Жаль вот только жеребца мне! Сдал в колхоз, а теперь люди на нем катаются. Не конь был,— огонь! Как увижу,— кишки начинают по брюху ползать. Пей, Кузьма! Знаю я, нет у них своего кузнеца, так вот и приняли меня. А то бы ведь вывернули, как поганую овчинку! Понимаю я их!

Кузьма пил большими глотками, чашку за чашкой. Он не слушал Пантиля, думал о своем.

— Ну, уж тебя-то, Кузьма, я, так и быть, выучу этому ремеслу. Истинный господь, будешь кузнецом. С таким, брат, ремеслом не пропадешь. Жалко мне тебя; страх как жалко! Ну, что ты теперь? Воевал, страдал, вишь — ногу

потерял, а все — как псу под хвост. Надо, брат, самому о себе беспокоиться. Люди — они не помогут. Сам спасай свою шкуру! Отец-покойник всегда так учил меня: умный мужик был, истинный господь, умный!..

Пантиль захмелел и, уже не стесняясь, громко излагал свои мысли перед молчавшим собутыльником. По лохматому лицу его текли струйки пота, нос лоснился, от полушубка распространялся кислый запах овчины.

— Постой,— вдруг остановил его Кузьма.— Да разве ищут меня? Говори, паразит, почему ищут?.. Ну?

Пантиль, крестясь, освободился от цепких пальцев Кузьмы и удивленно проговорил:

— Да что ты городишь-то? Кто тебя ищет? Я и знать ничего не знаю, вот те истинный господь! Ты два дня валялся здесь у меня. А нешто впервые это?.. Да кому какое дело? Пей, коли подносят!

— Слышал я, в лесу ищут... Не понимаю,— про себя сказал Кузьма и снова прикрыл глаза. Все показалось ему безразличным. Мысли отяжелели. По телу разливалась сковывающая все члены усталость. Чтобы унять дрожь в руках,— привычным жестом зажал ладони между коленями.

Наконец голова Кузьмы склонилась на грудь, и, еще немного покачавшись, он вдруг нырнул на пол и захрапел. Пантиль вздохнул, перекрестился, взял фонарь и зашел в баню, плотно закрыв за собой дверь, хотя Кузьма был теперь в таком состоянии, что его хоть дави, хоть души — он и пальцем не пошевельнет.

Верхний полок, на котором парятся, легко поддался под нажимом топора: доски вынимались без шума и быстро. Пантиль спустился вниз, разгреб слой земли, открыл крышку голбца. Оттуда повеяло сыростью и чем-то затхлым.

Стены голбца обшиты досками. В нем, как в ларе, стоят какие-то кадушки, мешки.

При слабом свете фонаря кузнец возился среди всего этого, как паук в своей паутине.

VI

Мать Сени вечером не пошла на скотный двор. Печальная, сидела она дома и чего-то ждала. Лишь после полуночи забылась, заснула чутким, тревожным сном. Ей показалось, она только что успела закрыть глаза, как в окно уже постучали. Вздрогнула, проснулась.

«Принесли!» — вихрем промелькнуло в голове. Кинулась к окну: на улице люди. Кто-то из них махнул рукой.

Ей сразу стало холодно, руки и ноги затряслись, как в ознобе. Не догадалась даже шаль накинуть; в чем была, так и бросилась в сени. Открывая дверь на улицу, зажмурилась поплотней, чтобы не видеть окровавленный труп мужа.

— Сына принесли. Несчастье с ним, но ты не пугайся, хозяйка. Он живой.

— Сына?

Стояла, как каменная, скрестив руки на груди. Молча глядела, как мимо нее на руках пронесли Сеню. Неожиданное известие словно парализовало ее.

Мальчика положили на кровать. Матери шепнули:

— На поле нашли... Без памяти. А собака его готова — убили. Да ты только не плачь, не тревожь его! Жив ведь он!

Мать постепенно стала приходить в себя и вдруг, как-то сразу, точно поняв, наконец, кого это принесли, заломила руки и, громко причитая, кинулась на неподвижного сына:

— Сенюшка мой единственный, солнышко ты мое! Да что же это такое! Да за какие же грехи это горе мне!

Сеня лежал с закатившимися глазами, с плотно стиснутыми зубами и, казалось, не дышал. Лезвием ножа раздвинули сжатые зубы и ложечкой влили ему в рот теплого молока...

Четыре дня пролежал Сеня между жизнью и смертью.

Болезнь его,— повидимому, нечто вроде нервного припадка,— затянулась. Лишь на второй день застонал он, показав признаки жизни, но все четыре дня пробыл без памяти. Тело горело. Компресс, положенный на голову, нагревался почти моментально. Лишь на четвертый день Сеня открыл глаза и попросил напиться.

Пионеры по очереди дежурили около своего больного товарища.

Что же стряслось тогда с Сеней? Для всех это было жуткой загадкой.

Правда, ребята, бывшие в дозоре, слышали лай собаки и неясный крик, но когда они прибежали, то увидели лишь мертвую собаку и распластанное тело своего товарища. Больше никого не было.

К концу второго дня заявился и Кузьма. Он, как тень, незаметно вошел и забрался на печь. Его никто ни о чем не спросил, как будто и не заметили, что он воротился. Целую ночь не смыкал он глаз, прислушивался к бреду сына.

О чем бредил Сеня,— для всех было непонятно, один только он понимал. Именно потому, что понимал, он и боялся спуститься с печи, боялся взглянуть на больного сына.

Под утро Кузьму стала мучить невыносимая жажда. Пришлось слезть. Больной спал; мать, не смыкавшая глаз уже две ночи, сидела у изголовья и не шевелилась, боясь потревожить его.

В ночной тишине резко скрипнула доска под осторожной ступней Кузьмы. Жена его быстро обернулась и удивленно уставилась на мужа, как будто недоумевала: откуда он появился. Таким же недоумевающим взором следила она за ним, когда он пил из ковша, и только, когда он шел обратно, прошептала, словно бы и не к нему даже обращалась:

— Бродяга... А сын-то больной!

Кузьма постоял около сына, громко вздохнул и снова полез на печь. Ему было невыносимо стыдно.

На фронте, во время империалистической войны, Кузьме пришлось пережить один незабываемо жуткий день. И теперь здесь, на печке, вдали, казалось бы, от всяких фронтов ему припомнился этот день.

С утра начали грохотать пушки, снаряды взметали вихри земли и огня. В окопах солдаты сидели, прижавшись друг к другу.

Немцы готовили атаку.

Пулеметчик третьей роты — Кузьма Чередов был у своего пулемета. Он — новичок, впервые на фронте. Но чтобы не показать себя трусом, улыбкой и шуткой старался встречать он каждый летящий снаряд: думал, что настоящий солдат ничего не должен бояться. Так внушали ему, новобранцу, пулеметчику третьей роты, все его учителя. Но когда неприятель устремился, наконец, в атаку, когда замелькали вдали перебегающие фигуры, все ближе и ближе подкатывавшиеся к русским окопам,— как дым тогда рассеялись все эти ложные, вбитые ему в голову мысли. Инстинкт толкал бросить пулемет и бежать как можно дальше от этого ада, превратиться в маленькую козявочку, чтобы забраться под корневище самой последней травинки. Но бежать было поздно. Спасти мог только пулемет, вот этот самый пулемет. И Кузьма Чередов, дрожа, как в лихорадке, прильнул к пулемету и начал расстреливать ленту за лентой.

Ему хорошо было видно, как падали приближающиеся фигуры. Огонь пулемета безжалостно косил наступающих.

Три атаки отбил пулеметчик третьей роты, спасая свою жизнь. Самой страшной для него была третья — конная, когда, казалось, нервы не могли уже больше выдерживать это страшное напряжение. Четвертой атаки он бы не вынес. Но четвертой атаки и не было.

Вечером, после боя, Кузьма увидел себя в осколке зер-

кала (карманное зеркальце разбилось) и испугался: волосы у висков серебрились, как бы подернутые инеем.

После этого во многих боях пришлось ему участвовать, ногу потерял на войне Кузьма, но того ужаса, который охватил его в первом бою, он больше уже не переживал...

А теперь, вот здесь, на этой знакомой и привычной печи, опять схватил его за сердце все тот же безумный, болезненный страх. Ему казалось, что уже всем известно об его преступлении, и чутко прислушивался он к каждому шороху в сенях, ожидая чего-то страшного.

Но нет, он не суда боялся! Он боялся проклятий своих же братьев, людей, вместе с которыми он когда-то трудился, строил колхоз... А теперь? Они безжалостно оттолкнут его от себя, как поганую лохань, они навсегда сочтут его чужаком. Да это так и есть, это так будет, это неминуемо должно быть так,— если и не сейчас, не в эту минуту, то все равно скоро! Многое бы теперь согласился отдать Кузьма, лишь бы воротить последние несколько дней.

Так прошло еще около недели. Никто не заговаривал с ним, не беспокоил его, и Кузьма начал успокаиваться.

Сеня стал заметно поправляться. Раз как-то, увидев отца, начал было хмурить брови, как бы что-то припоминая, но сознание еще не было достаточно ясно, и мысли работали вяло. Мальчик лежал бледный, с потрескавшимися губами.

В этот же день зашел в избу отец Игоря — председатель колхоза. Кузьма тогда как раз сидел около больного сына.

— Ну как, Кузьма, когда работать будем?— улыбаясь, спросил председатель.

Кузьма долго и внимательно изучал выражение его лица, прежде чем ответить, но не нашел ничего подозрительного.

— Какой уж из меня работник! Если ковать, так руки

дрожат. А куда же еще я годен? — с горькой усмешкой ответил он, глядя в сторону.

— Ну что ж, найдем и для тебя работу: скирды охранять. Согласен?

— Скирды? — встрепенулся Кузьма и испытующе взглянул на председателя. Не о том ли? Но лицо председателя было ясно, без подвоха.

— Откровенно говоря, Кузьма, я именно к тебе и пришел, чтобы поговорить об этом. Сам понимаешь, так не годится жить. Ну вот, скажи ты мне, что тебя пить заставляет? Без причины ведь не пьют! Это врут, когда отвечают, что так, мол, пьют, безо всякой причины, — сами себя обманывают этим. Не верю я в это «так». А вот когда человеку чего-то нехватает, что-то грызет его, — вот тогда-то он и кидается к вину. — Председатель помолчал. — Выложь ты мне, Кузьма, все, что есть у тебя на сердце. Чем могу помочь — помогу, я ведь и сам вижу: за последнее время ты как-то отошел от нас. Почему это?

Кузьма выдержал довольно длительную паузу. Затем вскинул глаза.

— Правду сказал: разошлись мы. А возможно, что и насовсем разойдемся. Я что ж?.. Посмешище для всех, не человек я... Хромой... Пьяница... Под старость к кузнецу приткнули — прислуживать. Научит он, как же, такой паразит, уж найдет чему выучить!.. Лучше пить да пропадать, чем у Пантиля учиться!..

— Да теперь-то ведь не пьешь?

— Теперь пока нет.

— Значит, можешь без вина жить?

— Коли маленько не выпью, то могу и так жить.

— Вот видишь! А ты вспомни-ка, с каким горячим желанием мы организовывали наш колхоз. Ведь и тогда ты был с этой же самой ногой, но не унывал же! Помнишь наш утепленный скотный двор? Ты привез лес, из которого хотел баньку себе сварганить. Я свой овин, можно

сказать, пожертвовал, другие тоже так. Вот и построили. Так что ж, забылись уже, что ли, те дни-то? Мало ли радости было! Ведь хорошо рожали мы наш колхоз, хоть и в муках рожали, а все же радостно было, Кузьма! И ты тогда не пил.

— Тогда!.. — повысив голос, блеснул глазами Кузьма.— Тогда было так! А теперь — иначе. Теперь вон меня сторожем ткнуть хотите! Дескать, на что же еще больше годен Кузь-Кузьма!

— Колхозный хлеб охранять, мне кажется,— почетная задача. Зачем же так обижаться?

— А если...— Кузьма быстро взглянул на сына.— А если я не уберегу ваш хлеб? Ну, скажем, что-нибудь такое случится?

— Ничего не случится, Кузьма. Ты свой человек, мы тебе доверяем.

Сеня, внимательно следивший за отцом, взял его за руку и, притянув к себе, шепнул:

— Батя, согласись!

Отец ласково улыбнулся...

VII

Похолодало. Чередуясь с осенними дождями, временами выпадал уже зернистый снег: покажется совершенно неожиданно с севера белое облачко и начнет быстро увеличиваться, а через несколько минут, глядишь, уже и мчит ветер вихри льдистого снега, ослепляя глаза прохожих.

Как только кончилось жниво, колхоз взялся за молотьбу. С утра до поздней ночи от скирд доносились звуки работающей конной молотилки. Колхозники изо дня в день нагоняли темпы: в первый день намолотили четверть тонны, во второй полтонны, затем тонну, две...

Кузь-Кузьма иной раз тоже заглядывал на ток. Если молотилка не гладко работает — исправит, а затем, скрипя пружинами своего протеза, отправится отсыпаться. Теперь у него своя работа: ночами сторожит он возле этих самых скирд.

Колхозники заметили в Кузьме большую перемену. Теперь он уже не проводит дни в сельпо или в сельсовете, занимаясь пустыми разговорами, не выпивает. Даже в лице поправляться начал.

За время болезни Сени между отцом и сыном завязалась какая-то особенная, странная привязанность друг к другу. Правда, разговаривали они между собою немногим больше прежнего, но дружба их проявлялась не в этом,— в каждой мелкой услуге, в каждом взгляде, кидаемом с особой теплотой, чувствовалось что-то новое, крепкое...

Сеня понемногу начал оправляться и крепнуть, как хлеб, побитый мелким градом. Пионеры продолжали его навещать, непременно принося с собой газеты или журналы. Ребята любили устраивать коллективные читки.

Несколько раз ребята пытались узнать от Сени, что же такое, наконец, с ним случилось? Но он всегда отвечал одно и то же:

— Ничего я не помню, ребята...

Он и на самом деле не помнил: не то какой-то обрывок страшного сна ему временами начинал припоминаться, не то... Спросить у отца он боялся, хотя и ожидал в глубине души, что тот сам заговорит об этом или хотя бы намекнет. Но отец молчал.

Как-то раз, когда Сеня уже достаточно окреп для того, чтобы ходить, ему захотелось взглянуть на своего отца в карауле. Кузьма утрами всегда приходил довольный, хотя и со слипающимися глазами; сегодня же почему-то пришел хмурый и сразу лег спать. Но и сон не помог: проснувшись, Кузьма попрежнему продолжал хмуриться и что-то думать про себя. Вечером, собираясь в ночной ка-

раул, он подошел к Сене и, положив руку на его курчавую голову, глубоко вздохнул.

— Ты что, батя?

— Ничего сынок, спи себе спокойно, я пойду...

Сеня на этот раз твердо решил не спать ночь. Выждав, когда мать легла и заснула, осторожно встал, оделся и, как мышонок, неслышно выскользнул за дверь.

На дворе было довольно темно. Сеня постоял несколько минут и решительно шагнул прочь от дому. Взяв направление в сторону скирд, он скоро вышел за деревню. Шагал он медленно, то и дело теряя от волнения дорогу. Уже приближаясь к скирдам, позади себя услышал он чей-то приглушенный кашель: кто-то тоже шел в этом направлении.

Идущий сзади не заметил прильнувшего к меже мальчика, прошел дальше и скоро скрылся за первой скирдой.

Сеня, выждав секунду, кинулся вслед за ним, добежал до скирды, крадучись обошел ее и выглянул на ток.

Сначала он ничего не видел и не слышал, кроме шуршания соломы, взбиваемой ветром на верху скирды. Даже отца не было видно. Но вдруг с другого конца тока послышался громкий оклик:

— Кто тут?

— Я это, Кузьма, ты не пугайся, хе-хе!.. Как договаривались вчера, так и пришел! Сейчас в аккурат полночь, у меня только что петушок пропел. Ну, как ты тут живешь-поживаешь, хе-хе? А?

Две фигуры завернули в подветренную сторону, и дальнейший разговор их не был слышен Сене, который стоял, как окаменелый, судорожно уцепившись за конец торчащей из скирды палки. Первой мелькнувшей у него в голове мыслью было: бежать в деревню и поднять тревогу. Но затем решил более точно выяснить, что именно хотят делать его отец и Пантиль. Еле-еле сдерживая дрожащие

колени, обошел он ток и снова увидел их обоих. Отец стоял, держа ружье подмышкой и одну руку положив на затвор. Пантиль, распахнув полу полушубка, вытащил бутылку и протянул ее в сторону Кузьмы.

— Согрейся, друг! Видишь не забываю тебя...

— Еще что можешь сказать мне?

— Да что ж говорить? Ночка темная, люди спят, а у скирд сторож есть. Все в порядке, Кузьма. Сами мы с тобой строили колхоз, своим горбом его вынашивали. Последнего жеребца, и того ведь пришлось свести в общую конюшню. Все равно, пропадать добру. Не мы, так другие разворуют. Ну, вот, значит, и пришел я с мешочком, как мы вчера уговаривались. Лишнего мне не надо, только свое, Кузьма! Истинный господь, свое только!

— Пришел, говоришь?

— Пришел, друг Кузьма. Да ты возьми вот это, согрейся маленечко.

— Стой, паразит! — внезапно крикнул Кузьма и, отступив на шаг, щелкнул затвором. Раздался выстрел. Огонь его, направленный вверх, молнией прорезал темноту, на мгновение осветив скирды, кучи обмолоченной соломы, молотилку и около нее — Пантиля с исказившимся от страха мохнатым лицом. У ног кузнеца валялась разбившаяся бутылка.

— Кузьма, господь с тобой, что ты делаешь? Брось ружье, брось, Кузьма! Не понял ты меня, выходит. Ведь я...

— Понял я тебя, паразит,— глухо ответил Кузьма, загоняя новый патрон.— Давно я хотел показать людям, что ты за человек, да сердце у меня собачье,— за себя боялся...

Снова выстрел. Отзвуки его вихрем промчались по деревне, поднимая там тревогу.

— Стой, паразит, ни с места! От судьбы своей не уй-

дешь,— ну, так вот и дожидайся ее здесь,— приставив ружье к ноге, сказал Кузьма Пантилю.

В это время Сеня, вынырнув из-за скирды, подбежал к отцу и радостно ухватился за руку, державшую ружье.

— Батя, я ведь все слышал, все! — громко зашептал он, пытаясь заглянуть в лицо, черты которого еле вырисовывались в темноте ночи. Лицо отца было спокойное и уверенное, как у человека, который сделал то, что надо, и знает,— хорошо знает,— что он прав и не уйти врагу от заслуженного им наказания.

ИЗЪЮР ИВАН

СЧАСТЬЕ

I

И началось это все на колхозном собрании...

За спинами людей, где-то в самом углу, сидела Ефросинья. Сидела и слушала, что говорит председатель колхоза.

— Кыдъюрова Ефросинья! — вдруг услышала она. Не откликнулась. Подумала: обмолвились или просто ослышалась.

— Кыдъюрова Ефросинья! — еще громче повторил председатель.

— Жена Митрофана! — крикнула Клавдия.

«Меня!» — испугалась Ефросинья.

Захотелось укрыться от табачно-синего света лампы, от глаз председателя и людей. Но на нее уже указывали:

— Да вот она, у печки...

— Кыдъюрова Ефросинья! Мы тебя назначаем скотницей.— Наконец и председатель нашел Ефросинью. Глаза его были мягкие, и сам он улыбался, но Ефросинья, точно виноватая, заволновалась.

— Я... не... — хотела что-то сказать и не нашла нужных слов.

— Ничего, мы поможем.

Так «жена Митрофана» на колхозном собрании вновь стала Кыдъюровой Ефросиньей.

Тридцать четыре года живет Ефросинья под солнцем, семнадцать лет, с того самого дня, как вышла она замуж, называли его Митрофановой женой, а Ефросинья, Фрося, ушла куда-то в прошлое, ушла так же безвозвратно, как и ее девичество. И не раз за эти тяжелые семнадцать лет она повторяла:

— Эх, жизнь!.. Да будет ли когда счастье-то?

Тридцать четыре зимы и тридцать четыре лета прошли, а счастья у Ефросиньи все не было. Девушкой она лелеяла надежду найти его в замужестве, а, выйдя замуж, убедилась, что и эта надежда тает, как рыхлый снег под весенним солнцем.

В одной с Ефросиньей деревне жил рыжий Митрофан. Ходил он всегда медленно, вразвалку, и вся его жизнь тоже шла вразвалку. Так, бывает, раскачивается на легком ветру длинная жердь, перехваченная посредине веревкой. На нем несменяемые годами синие холщевые штаны, длинная рубаха (в лавке у Варламова сына мешки из-под сахара, и те были гораздо чище). Жил он бобылем, в полуразвалившемся доме с недокрытой крышей.

Идет, бывало, Митрофан по улице, а ребята за ним гонятся и кричат:

— Рыжик, рыжик!..

— Трошка-Митрошка, дурья голова!..

Замахнется Митрофан на ребят,— они врассыпную. А пойдет дальше,— ребята опять уже дразнят.

Двадцать пять лет прожил Митрофан, а нажить ничего не сумел. Прибавки нет, а убавить нечего,— как был, таким и остался. Думал обзавестись хозяйством: новорасчистки на пожни из-под лесу расчистить собирался, да не

удалось,— инвентаря у него не было, за всем надо было обращаться к соседям. А соседи дают неохотно, у самих все в работе. Батрачил со своей лошадью целую зиму у Варламова сына и думал: «Вот двенадцать целковых заработал». Таким богатеем себя считал, что хоть свою лавочку открывай, а когда подошло дело к расчету,— на шершавой ладони Митрофана тускло заблестели одни только медные пятаки. Покружился он на одном месте, как петух с отрубленной головой, да так и ушел. Все выходило совсем не так, как думал Митрофан и как ему хотелось. «Ничего-с не поделаешь, должки-с... вашим папашей еще взято было!..» Долго помнил он сладенькую улыбочку Варламова сына!

На двадцать шестом году жизни женился Митрофан на Ефросинье. Она — третья по счету из семерых сестер, согласия у нее не спрашивали. Где ж их, всех семерых-то, разместишь! А у Митрофана все же что-то имелось: полизбенки, своя лошаденка.

Семнадцати лет вышла Ефросинья замуж за Митрофана. Потеряла свое имя, и стала она с тех пор «Митрофановой женой». Спутались девичьи косы, скомкались волосы, исчез с лица яркий румянец. И стало с тех пор в деревне два посмешища: рыжеголовый Митрофан в крашеных холщевых венчальных штанах, в белой холщевой рубахе с самодельными пуговицами из кожи и вечно растрепанная, взлохмаченная его жена.

Другой половины дома пристроить они так и не смогли, а во дворе к лошаденке с ногами, похожими на лучинку, прибавилось Ефросиньино приданое — коровенка и ягненок.

— Опять Митрофанова жена тянет свою брюхастую! — смеялись бабы над хилой коровенкой Митрофана.

Так прошли годы. Тянулись к лучшему, а выходило хуже. А потом началась война, Митрофана увезли куда-то, откуда он уже никогда не вернулся. Лошадь Ефро-

синья продала сыну Варлама за три воза сена, а потом понемногу распродала и остальное имущество.

Митрофана не стало, но Ефросинья продолжала называться его женой, и поэтому сегодня, когда на собрании, при всех людях, окликнули ее Кыдъюровой Ефросиньей, было ей это и неожиданно и радостно. В тот вечер, идя домой, она, казалось, не замечала своих шагов, в голове ее все время повторялось: «Я — Кыдъюрова Ефросинья. Я — Кыдъюрова Ефросинья»... По-иному выглядел даже и ее старый, обветшалый дом, непонятно мягкой показалась постель, и легко, незаметно прошла ночь.

Утром, не успев еще как следует проснуться, вспомнила она сказанное вчера председателем колхоза:

«Кыдъюрова Ефросинья...»

И еще другое:

«Кыдъюрова Ефросинья, ты будешь у нас скотницей...» — И это последнее было, пожалуй, даже важней, чем возвратившееся имя.

«Как и в молодости — Ефросинья. Не Митрофанова жена, а Кыдъюрова Ефросинья. Недаром ей доверили пятнадцать колхозных коров...» — думала про себя.

А для Ефросиньи самым желанным в жизни были коровы. Незавидной была ее Буренушка, но все же давала молоко, а к праздникам удавалось иногда даже и маслица накопить. Всегда мечтала Ефросинья иметь, «как у людей», две-три коровы. Казалось: если достигнет этого,— больше ничего и не надо будет, в этом и счастье. И сколько радости для нее бывало, когда Буренушка приносила теленка!.. Как будто большой праздник наступает. А что если... Но куда не залетит мечта! Поэтому и сегодня такой радостью, как сухие поленья смолистой сосны в печке, пылает ее сердце. Ведь всю жизнь кружилась вокруг одной, а тут придется за пятнадцатью ухаживать!..

II

Ефросинья подошла к скотному двору как раз в то время, когда из дверей выходили коровы. Она сразу же вспомнила: вот это — Макаровой жены Чернушка, а эта пятнистая — Авдотьи, эта — Семеновой жены. Самой последней вышла рогастая — Трофимовой жены.

«А почему «Трофимова жена»? — задумалась Ефросинья над старым обычаем называть жен мужниными именами.— Корова ее с именем, а хозяйка — Трофимова жена — потеряла свое имя. Ведь мне же вчера-то как понравилось, когда Ефросиньей окликнули. Не Трофимова, значит, жена, а Парасковья Егоровна, Жижёва Парасковья!»

Вслед за коровами вышла Клаша — заведующая молочно-товарной фермой колхоза.

— А, Ефросинья! Пришла! Ну, идем с нами, коров напоим, а там тебе и работу укажем,— одним духом, не останавливаясь, проговорила Клаша.

Не раз уже Ефросинья бывала на скотном дворе, не раз и во внутрь заходила, но сегодня все как-то выглядело по-особенному.

— Хорошо здесь коровам,— каждый раз повторяла про себя Ефросинья.— Тепло, не мерзнут! И молока больше дают.

Вспомнила свою карту [74]: между бревнами свистит ветер, навоз превращается в мерзлую землю,— топором не разрубишь. Недаром, видать, у Буренушки шерсть была в добрую четверть длиной!

А здесь навоз каждый день выносят, собирают его в сторонке в одну большую кучу, которая дымит под пригревающим весенним солнцем, как свежий хлеб. Пол хлева деревянный, утром и вечером тщательно чистят, окна большие и на железных петлях, а у Ефросиньи и во всем доме железных петель в помине не было.

Клаша начала объяснять Ефросинье, что и как делать:

— Твоим заботам доверяется пятнадцать голов. Выдоишь пятьдесят литров молока — получишь трудодень, больше выдоишь — и трудодней больше получишь. Корма тебе будут даваться мерой. Ты их должна разделить по нормам. У каждой коровы своя норма. Будешь хорошо ухаживать за коровами, так они и молока больше дадут,— я тебе расскажу потом,— а это значит, что и ты трудодней больше получишь.

Неприветливо встретили коровы Ефросинью: посмотрели на нее и обратно в сено сунули морды. Но Ефросинья спокойна: «Ничего, познакомимся! В первый раз это неудивительно, а после еще обниматься с ними будем!»

Незаметно прошел этот день. Училась у Клаши корм подавать, помогла хлев очистить, а к вечеру водила коров на водопой к реке.

III

Начинающееся утро не было похоже ни на вчерашнее, ни на позавчерашнее. Так же из-за леса поднималось солнце, так же из труб повалил дым,— но у Ефросиньи точно что-то новое вошло в сознание. Мысленно осматривала она своих коров, оценивала, какая больше даст молока.

«У Пелатеи коровы молочнее! — пришло на ум.— А как же насчет трудодня? Ведь не каждая корова одинакова! Может быть, у меня все коровы плохие, а у других хорошие?»

На селе из печей дым повалил уже столбами, а Ефросинья свою печь даже и не затопила.

«После утренней уборки приду и истоплю»,— подумала она, выходя из дому.

Когда Ефросинья пришла на скотный двор, там была

только сторожиха. Она не проснулась даже от звука закрываемой двери. Немного позже пришла Авдотья.

— Ты, Фрось, что-то сегодня больно рано! Не больно-то старайся! Ведь и тебе скоро надоест эта работа,— сказала она, надевая фартук.

— Я не ради того, что хочу больше получить. Мне доверили коров, а за ними надо хорошо ухаживать.

— Да, будут их здесь хорошо держать! Вот мы уже пришли, а Клавдия все еще спит, а ведь коровы-то мычат, просят корму. Неспроста здесь три теленка подохли.

— Ну, и подохли, так ведь всего три, а коров около ста,— ответила Ефросинья.— Здесь, в одном месте трое подохли, так и со всех сторон видно. А раньше сколько телят гибло? Болел каждый крестьянин за себя только, а никто другой и не знал, что у тебя случилось....

Не понравились эти слова Авдотье. Стала стучать ведрами, разбудила Марфу.

«Уж бескоровных-то хотя бы не назначали! — сердилась Авдотья.— От них добра не жди. Наверно, и кормить не умеет. Туда же, пришла, да учить еще хочет, словно настоящая хозяйка!»

— Что нынче так рано?— стала протирать глаза Марфа.

— Да если раньше не придешь, то Фрося-то наша трудодней мало заработает! — выходя, бросила через плечо Авдотья.

— Что это сегодня с Авдотьей сделалось? Всегда ведь последней приходила,— удивлялась Марфа.

Радуется апрельское солнце, и сверкает под его лучами снежный покров мелким бисером. Радость утра проникает и в хлев. Коровы, и те понимают: пришла весна. По дороге на водопой обнюхивают талую землю, не хотят итти в тени. Весело бегают вокруг хлева телята.

Побежали у Ефросиньи дни, как весенняя вода, быстро.

Кажется, и солнце только для того восходило, чтобы еще сильнее порадовать полную радости впервые осуществленного желания женщину.

Длинней кажутся дни лишь тогда, когда вспомнит слова Авдотьи, сказанные в первый день работы. Обидно становится: вот прожила жизнь, а счастья так и не видала. Теперь чистосердечно хочет она одного: честно работать,— так и тут ей мешают.

«Пусть уж тогда и не назначали бы...»

Но хочется ей оправдать доверие: еще внимательнее ухаживает за коровами Ефросинья после таких мыслей. Коровы уже по звуку шагов узнают ее приход, понимают ее. Сначала одна, за ней другая, а затем и все увеличили удои. Восемь дойных коров стали давать шестьдесят литров. Еще злее стали глаза Авдотьи.

«Выслуживается! Назначили ее скотницей, а меня всегда обходят»,— сердится она. Хуже чистит пол около коров Ефросиньи, а иной раз и вовсе не вычистит, и Ефросинье приходится делать это самой. Раз даже пожаловалась она Клавдии.

— Хорошо, я с ней поговорю,— сказала Клавдия,— ты только ее не бойся! А потом, Фрося, знаешь, и у тебя есть недостаток: неграмотная ты, не умеешь отмечать, сколько коровы молока дали. Сегодня же пришлю к тебе культармейца, начинай учиться.

«И за что на меня сердится Авдотья? — думает Ефросинья.— Я же ведь ей ничего плохого не сделала, в скотницы не напрашивалась. Если бы она хорошо работала, то ее и не уволили бы. Не бежать же мне отсюда, когда мне работа нравится?»

Много раз вспоминала она Митрофана, Буренушку, всю свою жизнь, и самым большим горем казалась ей смерть коровы. Вместе с Буренушкой, как будто оборвалась и ее жизнь. Теперь, ухаживая за коровами, иногда она думала: «Эх, если бы все свои были! Если бы все около

своего дома, в своем доме!» Но другая мысль тотчас же заслоняла первую: «А ну, как и они бы подохли вроде Буренушки? — Вот была же лошадь, да и перешла в хлев Варламова сына; корова умерла, а завести новую — что месяц с неба достать! Придется, видимо, с двумя овцами век коротать». В печаль впадает Ефросинья, как вспомнит прожитую жизнь да глянет на свое хозяйство с двумя овцами. Был Митрофан, была лошадь, корова, овцы, а остались лишь две овцы.

Где же счастье? Умрешь ведь так-то; в гробу и тó будет обидно за свою жизнь! Да полно, в Буренушке ли счастье?.. Много новых мыслей рождается в голове, о многом хочется поговорить. Чаще стала ходить на собрания.

Всю жизнь Ефросинья думала, что у каждого человека должны быть свои: изба, корова, хлев, лошадь, овцы, амбар или хотя бы сарай, куда человек собирает все свои пожитки. Придется в другое место перебираться,— так это все хвостом за тобой и потянется. Да и через всю жизнь это «свое» длинным хвостом тянется, и хвоста этого как будто никогда и нигде оставить нельзя. Разъединить человека с этим хвостом — и сразу же станет он бездомной кукушкой.

А теперь что же выходит? Цель-то человеческой жизни совсем не в приобретении этого «своего», а в чем-то другом! Этот хвост, оказывается, тянет совсем в другую сторону, не дает итти туда, куда тебе нужно, не дает жить, как хочется, не дает тебе от сердца пожить. Чтобы сохранить «свое», приходится всю жизнь трудиться, пóтом обливаться, кости гнуть да слезы лить, пока другие таким же хвостом и не смахнут и не растопчут тебя, как растоптали ее самое.

Трудно Ефросинье все это понять. Чтобы разобраться в своих мыслях, ходила беседовать к Клавдии и к другим скотницам.

IV

Самое веселое время у скотниц — это около полудня. Коровы накормлены, напоены, выдоены, вычищены, утреннее молоко сдано. До вечера некоторое время свободны. Разговоры идут, препирательства, хвастовство:

— У тебя, Пелагея, сколько литров стало?

— Двадцать восемь, а у тебя?

— У меня мало, только двадцать шесть.

— Мало! У меня больше двадцати двух литров и не бывало, а вечером и двадцать еле-еле набирается! — жалуется Настасья.

— Плохо, значит, ухаживаешь,— отзывается Клавдия.— У Ефросиньи, вот, сегодня тридцать два литра.

— Да у нее все коровы хорошие.

— Нельзя сказать, чтобы очень уж хорошие. Хорошо ухаживает, вот и дают много.

— За моими хоть как ухаживай,— больше этого не дадут. Трудодня еще ни разу не заработала.

— А почему у Авдотьи коровы и пятидесяти литров не давали, а Ефросинья шестьдесят выдаивает? Все от ухода зависит. У вас коровы корм топчут, кормить не умеете.

— Ефросинья много забрать хочет!

— Зачем забрать? Ухаживает за коровами как следует, с сердцем, с любовью к делу работает. Корм у нее зря не пропадает.

Ефросинье приятно, что про нее речь идет. А как раньше-то много смеялись! Не все же, ведь, ей видать горькое...

— Не нужно так-сяк смотреть на работу. Мы и так не выполняем плана. А почему? Думаете, коровы не могут дать? Не умеем еще хорошо за ними ухаживать, вот почему!

— Верно, Клавдия,— прервала Пелагея,— нечего сердиться на Фросю, если она хорошо работает. Человек усердие оказывает, а мы ее браним.

— В том-то и дело, бабы! Нам странным сперва казалось определение трудодня. Думали, что несправедливо оно. А Фрося своим примером показала: правильное оно. Всем нам нужно так, как она, работать. С кормлением у нас все еще плохо, много корму идет в брос. Жалуемся, что мало сена, а сами кормить не умеем. У коровы ведь молоко на языке.

Вспоминала Клавдия, как содержали коров, когда она сюда пришла впервые после учебы на курсах. Трудодень скотницы измерялся тогда количеством коров, а как ухаживают они за ними — это не учитывалось. И самым трудным для Клавдии было установить трудодень по количеству молока, данного коровами.

Бурно прошло первое производственное совещание, устроенное Клавдией.

— Как это по количеству молока?!

— Ну, а если все мои коровы доиться перестанут?

— Да как можно каждому человеку одинаковых коров дать?

С трудом удалось Клавдии убедить собравшихся в необходимости перехода на новое исчисление трудодня. На этом же совещании постановили перевести Авдотью, за плохую работу, из скотниц в уборщицы.

— Я вот и говорю, бабы: нужно нам лучше работать, нужно поднять свою производительность. Если больше масла будем давать государству, то ведь и оно нам будет больше давать.

— Я, Клавдия, хочу соревноваться с Ефросиньей,— опять прервала ее Пелагея,— буду ударницей!

V

Хороши весенние ночи! Еще прекрасней они казались Ефросинье, когда она была молода. Сядет, бывало, после гулянки у амбара и начнет мечтать. Мечтала она в то

время о том, как она будет любить молодого парня. Парень будет здоровый, с грудью, как печка, с открытым взглядом, с мускулистыми руками. Хорошо смогут такие руки работать, а обнимет такой парень,— сердце замрет. Потом выйдет за него замуж, построят они новый дом, заведут лошадь, да так хорошо заживут, что люди с завистью будут говорить:

— Вот так Ефросинья, за какого мужа вышла!

Рухнули эти мечты. Никто таких слов не сказал, и завидовать было нечему. Разве будет кто завидовать половинной избе да сгнившему забору?

Вспомнила все это Ефросинья и вышла на крыльцо. Такая же белая ночь, как и семнадцать лет назад. Только тогда в их селе не было скотного двора с восемьюдесятью коровами, из которых пятнадцать под ее наблюдением, не было этого нового телятника, и едва виднеющейся отсюда новой школы тоже не было. Не было и сарая, где хранятся машины. На все село тогда была одна только машина,— швейная, у Варламова сына.

Серебряной чашкой висит месяц над селом. Высоко, почти до самого месяца, поднялась маковка церкви. На маковке не крест — красный флаг.

Было так тихо, что Ефросинья слышала дыхание коров за дверями скотного двора.

«Что я плохого сделала Авдотье?— опять вспомнила она прежний разговор.— И сюда я не насылалась и не себе дою. Спасибо Клавдии: защищает. А Авдотья пусть себе ругается,— не буду я обращать внимания на нее! Сама не сумела работать, вот и мне мешает».

Слышит: тихонько замычала корова.

«Что это? Никак у Пелагеи корова должна была телиться?»

Второй раз замычала та же корова. Ефросинья бросилась на скотный двор. Прошла мимо лежащих коров в самый конец двора, развязала у Маши веревку.

Корова посмотрела на Ефросинью просящими глазами: такого взгляда никогда и ни у кого еще не видала Ефросинья.

— Что, золотая, что? Что тебе, куколка, нужно?— гладя бока коровы, стала приговаривать Ефросинья, и у самой слезы готовы брызнуть.

Корова еще раз жалобно замычала:

— Ма-ма-а! — как будто свою мать позвала.

— Что, золотая, что? — уже плача, сказала Ефросинья и побежала было к дверям, но сразу же вернулась обратно.

Что было дальше — плохо помнит Ефросинья. Помнила лишь, как гладила бока и растирала живот коровы. Слышала, как и другие коровы замычали. Когда пришла в себя, уже все было тихо, а мать усердно облизывала лежащего у ее ног теленка. Хотела и Ефросинья погладить теленка, но мать головой отвела ее руку.

Первой пришла на скотный двор Клавдия.

— Ничего не было?— спросила она.

— Маша отелилась.

— Что ты?! И никого не позвала?..

...Около полудня из правления колхоза пришла Клавдия.

— Ну, Ефросинья, правление решило тебя премировать за хорошую работу сегодняшним теленком. Сама его здесь на скотном дворе, ухаживая за коровами, попутно и вырасти. Смотри, хорошенько ухаживай, чтобы вышла хорошая корова... Да ты что? Ну, зачем плакать-то? Что ты, Фрося, милая?!

— Ничего... я так...

— Как так? Что случилось?

— Да я от радости... Очень уж ты, Клавдия, хорошая.

— Не я, Фрося, хорошая, а все мы. А ты не плачь! Успела ведь за всю жизнь наплакаться.

— Прежде от горя слезы, а теперь от радости... Здесь, в колхозе, только, видать, и нашла я счастье...

...А началось ведь все это там, на колхозном собрании...

МИХ. ЛИХАЧЕВ

ЭГРУНЬ

Как песню спеть тебе такую,
Чтоб радостью была она?
Бывает: слово не найду я,
Чтоб ласка в нем была видна.

Тебе же нужен слог лучистый,
Чтоб в сердце пел огонь живой,
Чтобы глаза сверкали чистой
Смородиною дождевой...

Был день широк. Ржаною тишью
Был переполнен поля круг.
Ты в этот день с победой вышла
В бригаде девушек-подруг.

Сверкал твой серп в руках проворных,
Шумели морем стебли ржи...
В глазах смородиново-черных
Горела молодость и жизнь.

Дул ветер легкий, ветер южный
На полевой веселый склон;
Работой спаянной и дружной
Был даже ветер удивлен.

О Эгрунь, девушка родная,
Ты в поле, как боец в бою!
Я стих внимательный слагаю
За труд, за молодость твою.

За то, что ты огнем веселым
Ведешь других, зовешь, бодришь,
За то, что песней комсомола
Ты будишь полевую тишь!

САНДРИК ЙОГОР

ЕСЛИ ОПОЗДАЕШЬ...

Отдыхал.
Был вечер алым.
Не вязались мысли и слова.
Рядом — девушка плела-сплетала
Белые,
Что вьюга, кружева́.

Кружева сплетая,
Между делом,—
Сердце беспокойное дразня,—
На меня
Украдкою глядела,
Изредка глядела на меня.

Говорю ей:
— Девушка, послушай,
За твоей работой я слежу.—
Говорю ей:
— Милая, послушай,
Ты послушай, что тебе скажу.

Кружевная молодость увянет:
Говорят, что дешев
Труд такой.
За тобой
Ухаживать не станет
Право-слово,
Даже и не взглянет
Даже вдовый и немолодой! —

Девушка взглянула,
На минуту
Спрятав руки
В кружевном дыму...
И беседа кончилась, как будто,
На стыдливом слове:
— Почему? —

Вот с тех пор
Один я отдыхаю
От работы
В синеве лесной:
Разобиделась на шутку, злая!
Даже не встречается со мной!..

Что наделал?
От такой безделки
Тяжелей на отдыхе вдвойне:
Словно суп в нетронутой тарелке,
Сердце остывает в тишине.

А она живет и дышит,
И сплетает кружевье,
И, наверное, не слышит,
Как стучит под этой крышей
Сердце тихое мое.

Днем, на вывозке, не спросит:
Как живу? Чего притих?
Больше всех она вывозит
Кубометров дорогих.

А на отдыхе плетенье —
Либо вяжет, либо нет...
Говорят, что ей почтенье,
Сам директор шлет почтенье
И директорский привет...

Ну, и пусть!..
Однажды иду я
Поздно с работы. Окончен день...
Смотрю: авария.
Смотрю: зацепились
Дровни с бревнами
О старый пень...

— А... это ты?
— Да, это я!
— Топор не нужен?
— Нужен топор!

— Дам. А что за это будет? —
Говорю, полушутя.
— Что попросишь, то и будет! —
Мне в ответ, полушутя...

Дни идут. И отдых тает,
Незаметно, как слова.
Рядом — девушка сплетает,
Тянет-вяжет кружева́.

Говорю ей, что не надо,
Говорю ей:
—Что за честь
Кружева, как серенаду,
Каждый вечер плесть и плесть?

Подняла ресницы. (Стала
Сразу комната светла.)
Не обиделась, не встала
И, как раньше, не ушла.

Говорю:
— Домой уедешь
И, наверное, весной
Ты отдашь другому сердце,
А мое куда девать?

Свет серебряный в окне...
Девушка сказала мне:

— Жди меня с верховья Эжвы,
На плотах весенних жди.
Опоздаешь,— пароходом
С понизовья Эжвы жди.

К пароходу опоздаешь,—
На льняном увидишь поле.
А на поле не застанешь,—
Встретишь на лугу, с косой.

Опоздаешь на покосы,—
В поле выйди, на жнитво́.
Если там меня не встретишь,—
Буду на гумне, с цепом.

Молотьбу пропустишь,— в осень
Приходи сюда, увидишь
Здесь меня, на этом месте
У любимого в объятьях.

*

Синеет лед. Но птичий гам
Сильнее к ледоходу...
Хожу на берег по утрам:
Не видно ль парохода?

ИВУ СТЁПКО

ПИСЬМО

Не так давно я весточку
Из сельской нашей местности
От брата получил.
Хорошее и теплое
Карандашом написанс
Братишкино письмо:

«Час добрый, утро ладное!
Привет тебе, Степаш!
Хочу тебя порадовать,
Берусь за карандаш.

Хвалить себя не стану —
Но радость в голове!
Отныне я — стахановец
Я — знатный человек!

Работаем мы планово,
Минуты учтены.

В почете мы, ударники
Стахановской весны.

Работаем с энергией,
Хозяева полей.
Без промысла отхожего —
Светлей и веселей.

Мне радостно. Работаю...
Какая уйма сил!
На премию колхозную
Я патефон купил.

Видал-миндал? На отдыхе
Теперь не скучно нам.
Идет молва хорошая
Про нас по деревням.

Братуля, братец, брат ты мой,
В какие ж дни живем!
И как живем-то? Здóрово
Жизнь в оборот берем!

Об этом покрасивее
Пиши стихи, Степаш,
А у меня над рифмами
Не пляшет карандаш.

Об этой неудаче я
Не очень и грущу...
Еще какую весточку
Тебе я сообщу!..

Красивая да статная,
Лесной малины сласть —

Парася из Панатовки —
Как любит меня! Страсть!

Любовь моя хорошая —
Резва и весела.
Она, как я,— стахановка,
В почете у села.

Мы часто вместе вечером
Заводим патефон,
Целуемся, милуемся,
И отдых — словно сон!

И ты когда-то с девушкой
По летним вечерам
В деревне нашей хаживал
На зависть паренькам.

— Вот пара! — люди встречные
Шептали к вечерку.
— Да девка-то не пара ведь
Растяпе-батраку!—

Тебе печенку вытрясти
Грозил богач Фаддей...
Увел, умыкал милую
Проклятый богатей...

Без родины, без радости,
Собачьей жизнь была.
А нам с любимой — Родина
Всю радость отдала.

Растем, поем, работаем,
В селе — почет и честь.

Как хорошо с работою
Любовь и юность сплесть!

Братуля, братец, брат ты мой,
В какие ж дни живем!
Пиши стихи хорошие,
А мы их пропоем.

Пиши о нашем отдыхе,
О жизни, о труде.
Пиши красивей. Ладные
Стихи дойдут везде.

Да и о том, как ранее
Шла жизнь у батраков...
Роднуля, до свидания!
Жду писем и стихов!»

*

С большой, горячей думою
Сижу, а ночь — тиха...
Я чувствую, как радостно
Рождение стиха.

В. П. ЛАТКИН

СКАЗКА ТУНДРЫ

Над белой тундрой —
Низкое небо;
И звезды стылые
Ушли в зенит;
Качаются нарты,
Летят олени,
И ветер неистово
В ушах звенит.

Назад убегают
Десятками версты;
И вновь сквозь вьюгу
Чернеет чум [75]...
Сидим у костра мы.
И длинно-предлинно,
Что знает, рассказывает
Кэрвидзись Рум [76].

А ветер за чумом
Исходит злостью!

Над мерзлою тундрой —
Ночи час.
И шепчется чайник,
Вода закипает;
И тянется ниточкой
Рума рассказ:

— Где русские земли
Граничат с небом
(К югу далекому
Машет Рум),
Где теплые реки
Журчат в просторах,—
В саду возвышается
Огромный чум.

Заводов да фабрик
Вокруг — без счета!
Работа — что вешний
Кипучий гром.
И жил в том чуме,—
За бедных болел он,—
Человек с огромным,
Что мир, умом.

Чтоб радостней было
На нашей планете
Рабочим всех наций,
Лесов и рек,
Чтоб воздухом полдня
Дышали чудесней
Тундра и юга край,—
Мечтал человек.

Когда пятикрыло
Звезда пылала,

Свалилась нежданого
Горя власть:
Зимою льдистой
В пылу работы
Жизнь Великого
Оборвалась! —

Чумов — тысячи
В тундре широкой.
Где начало тундры?
Где ее конец?
Но весть о горе
На крыльях ветра
Летела в тундру
К теплу сердец.

Буранный ветер
Стонал и плакал,
И страшен был тундре
Буранный вой!
И годы эти,
И память о друге
Остались нам в песне
Большой, боевой.

К солнцу шагали
Быстрые годы,
Время твердое
Равняло шаг.
Великое семя,
Великие всходы:
Разросся цветущий
Чудесный сад.

В полях машины
Гремели песней,

Росла и крепла
Рабочая стать.
Люди бесстрашные,
Честные, смелые,
Планеты счастье
Стали ковать.

Тяжкие двери
Упали с реки:
В двери другие
Теки, быстрина!..
Молний мильоны
Зажег человек. И —
Миру победу
Трубила страна.

Здесь у чумов — ветер,
Здесь у чумов — стужа
Только искры неба —
Игра огней.
Мне порой покажется,
Что звездное небо —
Зеркало солнечной
Страны моей.

С какой смотрю я радостью
В небо стоокое,
Когда оно украшено
Звездной игрой!
Вот эти звезды — фабрики,
Тут электростанции,
А там — миллионозвездный
Днепрострой!

А посмотришь к северу:
Темное небо,

Черное небо там
И — пустота...
Это тундра тенью
В стылые равнины
Легла широкой ночью
Тиха и проста...

Но пусть воет ветер
И злится тундра,—
Румов развеется
Большая печаль:
Уже оживает,
Будет светлее
Тундры заснеженной
Дикая даль!

*

Эх, как люблю я
Посвисты ветра,
Янтарной, сверкающей
Каменки гром!..
Совсем недавно
Вдоль Каменки шел я;
На каменных кручах —
Пыль столбом!

Узкоколейка,
Строенья, заборы...
Брел, как во сне, я
С поющей душой.
Румовой тундры,
Тундры вчерашней,
Сегодня на Каменке —
Не нашел!

Каменки бурной
Берег и воды
Стали незнакомыми
Для меня:
Черными ртами
Шахты зияли,
Уголь выбрасывая
В разливы дня

В долгом безмолвьи
Стоял, волнуясь,
Смотрел, как гремела
Тележек семья.
С веселой сменой
Забойщиков смелых
В шахту гремящую
Ползу и я.

Все глубже, глубже,
Все вниз, быстрее,
Пока не исчезли
Гранита слои.
Гранитных пород
Углы косые
Ласкали с радостью
Руки мои.

Во тьме предметы
Чуть различают
К свету привыкшие
Мои глаза.
Забойщики,
Племя
Подземных цехов!
От рук их в забое
Вскипает гроза!

Взлетает кирка.
И черными искрами
Уголь осыпается
К ногам.
Мелькают лопаты.
И друг за дружкой
Тележки рассыпали
Колесный гам.

Юнцов безбородых,
Отцов бородатых
Крепнет упорство
В недрах земли.
Ах, что̀ там годы!
Играют лопаты,
Искрится кожа
В поту и в пыли.

А этот крайний,
Что слева,— страшен!
Он рубит с пылом
Он рвет пласты...
Я лампу приподнял,
Смотрю: знакомы
Под слоем угля
Лица черты!
И сказка тундры
Пришла. И снова
Я вспомнил звезды,
И ночь, и чум.
Стоял в забое
Передо мною
Знакомец давний —
Товарищ Рум!

Глаза сверкнули.
В них — радость дела.
На миг отложен
Тяжелый лом.
— Болтать не время:
Соревнованье!
Вот смену кончим,—
Прошу в наш дом! —

И после работы,
Как некогда в чуме,
С Румом-забойщиком
Сидим, говорим.
Уже исчезли
Тяжелые звезды,
Синеет час утра,
А мы — говорим.

Я слушал, как в тундре
Что холодная тундра
Работой согрета:
Не страшен мороз!
Я слушал, как в тундре
Под вьюгами вырос
Первый по Каменке
Олений колхоз.

Как уголь был найден
У Каменки быстрой,
Как рос и крепчал
Строительный шум...

О том, как отходником
Прибыл на шахту

И стал забойщиком
Колхозник Рум.

*

Над белой тундрой
Все небо в звездах...
Рукой на север
Машет мой друг:
Под небом звездным
Во тьме пустынной
Сиял огромный
Огненный круг.

МИХ. ЛИХАЧЕВ

НА НОВОМ ШОССЕ

Птицей машина стремится,
Сёла и лес — позади.
Пыль под машиной клубится.
Радость струится в груди.

Где он, проселок, изрытый
Оспой колдобин и ям?
Звонок гудок басовитый,
Диким конец колеям!

Мчится. Ни шума, ни стука.
Мимо — пригорки и гать.
В Кудымкар, кажется, руку
Можно с машины подать.

Волосы руки норд-оста
Трогают, чуть шелестя...
И — мимо дамбы и моста
Мы пролетаем шутя.

Птицей машина стремится,
Сёла и лес — позади.
Пыль под машиной клубится,
Радость победы в груди!

Стихи для настоящего сборника переведены Иваном Молчановым, кроме поэмы Тимы Веня „У мавзолея Ленина“, переведенной с подстрочника Евгением Соколом.

Литературная обработка прозы сделана С. В. Кашеваровым.

Фольклор дан в литературной обработке Глеба Алексеева.

Тексты приведенных в сборнике песен записаны на языке коми М. Кудиновой и А. А. Цембером в 1911 году в селе Визинга и П. Г. Дорониным в 1923 году в деревне Пронь дор. Песня „Слезы“ записана венгерским профессором Рафаэлем Фуксом, опубликовавшим ее на венгерском и коми языках. Остальные песни появляются в печати впервые.

Тексты сказаний и сказок записины на языке коми М. Н. Лебедевым, А. А. Цембером, Ф. А. Арсеньевым, П. Г. Дорониным, Г. А. Старцевым, финским профессором И. Вихманом, А. Н. Кузивановым и другими. На русском языке были частично опубликованы записи М. Н. Лебедева („Яг-Морт“ в журнале „Досуг и Дело“, 1901 год, № 1; „Кӧрт-Айка“ — там же, 1904 год, № 4). Сказка „Макар и семеро братьев“ переведена А. А. Поповым по тексту, опубликованному П. Г. Дорониным в журнале „Ударник“.

ПРИМЕЧАНИЯ

СОСТАВИЛИ

А. А. ПОПОВ, Г. В. АЛЕКСЕЕВ

и

С. В. КАШЕВАРОВ

[1] Йорт — товарищ. В коми-языке ставится после имени.

[2] См. по этому вопросу книгу Н. И. Ульянова «Очерки по истории народа коми». Партиздат. 1932 г.

[3] О процессе выделения феодалов внутри общины см. у Энгельса «Анти-Дюринг». Партиздат. 1934 г., стр. 127-128.

[4] Более подробный анализ коми-фольклора подготовляется автором настоящей вводной статьи для выпускаемого в 1937 г. издательством «Академия» сборника коми-фольклора, составленного Глебом Алексеевым.

[5] См. статью Энгельса в журнале «Пролетарская революция», 1935 г., № 6.

[6] Центром епархии до 1571 года был город Усть-Вымь (ныне Емдин, районный центр Коми-области).

[7] Моя муза не продажна.

[8] Не будет продажной моя муза.

[9] Суоми — самоназвание финнов.

[10] См. его основной труд: «Зырянский край при епископах пермских и зырянский язык». СПБ, 1889 г.

[11] См. по этому вопросу статью «Национал-демократизм в вопросах языка и письменности» в журнале «Большевик» 1934 г. № 6, стр. 81—96.

[12] Сыктывкар — центр автономной Коми-области.

[13] Шуга — мелкий лед, обычно идущий перед замерзанием реки.

[14] Моль — сплав леса в рассыпанном виде, не плотами.

[15] Кардор — Архангельск на языке коми.

[16] Му — на языке коми — земля, страна.

[17] Яг-морт — буквально «человек из бора»; здесь — прозвище, характеризующее враждебного первобытной общине представителя феодального начала (см. вводную статью стр. 18).

[18] Пам — волхв, великий колдун, полумифический противник Стефана Пермского (см. вводную статью стр. 18.)

[19] Комля, или комель — нижняя часть ствола.

[20] Голик — веник из голых веток, очищенных от листьев.

[21] Голбец — запечное пространство, обычно с ямой для хранения подручных запасов продовольствия.

[22] Существует несколько вариантов этого очень распространенного среди коми предания об одном из положительных героев коми-эпоса, повидимому, действительно жившем некогда человеке. Возле Важгорта (Удорский район) и доныне находится курган, в котором, по словам жителей деревень Лупья и Мыс, покоится прах могучего Пери. Крестьяне деревень Лупья и Мыс носят почти все одну фамилию Мизевы, производя ее от брата Пери — Мизи.

[23] Чом — шалаш из веток, служащий прикрытием от непогоды.

[24] Надья — особый способ разведения костра, когда два кряжа кладутся друг на друга, а не рядом. Горение в этом случае происходит медленно, и жар идет не вверх, а в стороны, обогревая расположившихся по бокам костра охотников.

[25] В древнем Иране таким способом замучивали пленников.

[26] Паужин — время между обедом и ужином.

[27] Вöрса — дух леса, соответствующий русскому лешему. Предания о нем широко распространены среди коми-охотников.

[28] У коми существует обычай тягаться на палках, пробуя свою силу.

[29] По вишерскому варианту — сухожилия, связывающие бедряную и коленную кости.

[30] Мохнатоухий (гöна-пель) — прозвище лешего (вöрса).

[31] По вымским лесным банькам — избушкам охотников, еще недавно существовал обычай оставлять в самой баньке невырубленный пень, чтобы в случае прихода Мохнатоухого померяться с ним силой.

[32] «Свадебный плач» является самостоятельным литературным произведением Глеба Алексеева. В основу его положено семь плачей, записанных со слов Е. Изъюровой, М. Забоевой и др. По существовавшему у коми обычаю, девушка, перед замужеством, прощаясь, «плакала», обращаясь к отцу, матери, братьям, сестрам, к своей косе, к избе, бане и т. д. Такие плачи продолжались иногда по две-три недели, причем роль невесты обычно выполняли наемные плакальщицы.

[33] Ен — бог добра дохристианской религии коми.

[34] Лапушник — гусиная лапка дикорастущее растение из вида розоцветных.

[35] Эжва — коми-название реки Вычегды, наряду с Печорой являющейся основной водной артерией области Коми.

[36] Парма — основным значением этого слова первоначально было: холмы, поросшие разнолесьем; ныне — лес, тайга.

[37] Верда́н-вердысь — буквально: «кормящий съестным», обращение к отцу, наподобие русского «поилец-кормилец».

[38] Шойна — поле смерти, кладбище.

[39] Воня — Вонифатий. В коми-языке уменьшительные имена распространены шире, чем в русском.

[40] Веч — Вячеслав. У коми имя отца, соответствующее русскому отчеству, ставится впереди (Сергей Васъ — Василий Сергеевич).

[41] Кутян — имя собаки-лайки.

[42] Парма — как уже говорилось (см. примечание 36), дремучий лес, тайга. Бор на языке коми имеет особое название: «яг» (см. примеч. 17).

[43] Сьикт — село. Извайль — название села.

[44] Кыйсьысь — охотник.

[45] Прӧмыс — добыча.

[46] Тырмас — довольно, кончено.

[47] Вежем — подменный; выражение неодобрения, презрения.

[48] Мыдлин — Троицко-Печорск, в 1919 году центр белогвардейщины в верховьях Печоры и Вычегды, ныне районный центр области Коми.

[49] Белые в Коми-области восстановили волостные и земские управы, существовавшие между Февральской и Октябрьской революциями. Эти «управы» были орудием кровавой расправы не хуже, чем существовавшие до реформы 1861 года учреждения, так и называвшиеся «расправами».

[50] Чижовка — арестантское помещение.

[51] А. И. Шомесов — сельский учитель в деревне Скородум (теперь Помоздинского сельсовета Кулемдинского района области Коми), коммунист, красный партизан. Убит белыми осенью 1919 года. Рассказ построен на фактах из биографии т. Шомесова.

[52] Ния — на языке коми — лиственница.

[53] Чибью — возникший в годы первой пятилетки центр Ухтинского нефтеносного района.

[54] Трипан Васъ — Василий Трифонович (см. примечание 40).

[55] Подсечная система земледелия в Коми-области лет пятьдесят-шестьдесят назад была сменена трехпольной, но у большинства крестьян оставались небольшие подсечные участки. В голодные годы эти участки вновь приобрели более широкое распространение.

[56] Пестерь — род дорожной корзины, сплетенной из узких полосок бересты; носят его на спине (как рюкзак). Пестерь непроницаем для дождя, легок и удобен.

[57] В голодные годы лепешки из пихтовой коры («кач-нянь») всегда служили в Коми-области суррогатом хлеба. Так было и в годы гражданской войны (1918, 1919 и часть 1920 года). Смертность от этого «хлеба» была очень высока.

[58] Туис, или туес — бурак, дорожная посуда из бересты.

[59] Зорэд — стог сена.

[60] Чомкост — расстояние между стоянками по лесным речкам, около десяти-пятнадцати километров. На «чомкосты» меряются расстояния в необжитых местах по верховьям рек, где точные расстояния неизвестны.

[61] Чуман — лукошко из сплошной бересты. Большие чуманы служат посудой для хранения зерна и тому подобного.

[62] Автор имеет в виду белогвардейцев, которые заняли верховья Вычегды осенью 1919 года. Красные войска вернулись туда обратно лишь следующей весной, в марте 1920 года.

[63] Слово «мужи́к», по мнению некоторых славистов, происходит от «мужик», презрительная форма слова «муж» (в смысле «государственный муж» и тому подобного).

[64] На языке коми — «не спи!».

[65] В Коми-области освоение новых земель нередко шло путем выселения нескольких крестьян в так называемые «починки» в две-три избы, разраставшиеся впоследствии в новые деревни.

[66] Пыста — синица.

[67] Запань — цепная перегородка на реке, у которой задерживаются сплавляемые с верховьев бревна для связывания их в плоты.

[68] «Арес» — множественное число от «ар» — осень: так ведется у коми счет лет жизни.

[69] Бон — перегородка на реке из пловучих бревен, скрепленных между собою.

[70] «Вын» — на коми-языке «сила».

[71] Кузь — длинный, в данном случае прозвище.

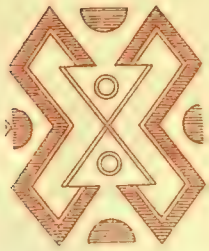
[72] Суслоны в Коми-области устраиваются так: вбивается кол, вокруг которого ставят девять снопов, а десятый кладут наверх.

[73] Еретник — испорченное слово «еретик», в смысле «знающийся с нечистой силой».

[74] Карта — у коми так называется хлев для коров.

[75] Чум — у кочевых оленеводов, коми и ненцев — остроконечное конусообразное жилище.

[76] Кэрвидзись (от «кэр» — олень) — на языке коми — олений гонщик, пастух. Рум — имя собственное.



СОДЕРЖАНИЕ

Стр

Нёбдинса Виттор (В. А. Савин). Спасибо товарищу Сталину. Песня (1936) 9

А. А. Попов. «Оттесненные» возрождены великим Октябрем (1936) 17

Иван Молчанов. Разговор при луне. Стихотворение . . 39

I. В тюрьме народов

(Из дореволюционного коми-фольклора)

ЛЕГЕНДЫ И СКАЗКИ

Яг-Морт 47

Кӧрт-Айка 49

Дядя Юра 51

Дочь солнца 53

Перя 59

Пипиристи-сокол 62

Буйныр 64

Мохнатоухий 67

Каждой девушке свое 69

Наказанная насмешка 70

Макар и семеро братьев 72

СВАДЕБНЫЙ ПЛАЧ

Обращение к отцу 81

ПЕСНИ

Это диво, это чудо — до чего же я красив 87
Матушка-лапушка 88
Я гулять ходил 89
Он уехал далеко 90
Опали красные цветы 90
Слезы 91
Выкуп 91

БЕСПРАВНЫЕ

Питю Öньö (А. Н. Зубов). Бездомная кукушка. Стихотворение (1933) 93
Тима Вень (В. Т. Чисталев). За царя. Отрывок из повести (1933) 97

II. За власть Советов

Нёбдинса Виттор (В. А. Савин). Из поэмы «Сыктывкар» (1934) 115
Выль Паш (П. А. Щеболкин). Из поэмы «Неугасимые звезды» (1930) 118
Сандрик Йогор (Г. А. Шахов). Алеша. Рассказ (1934) 124
Выль Паш (П. А. Щеболкин). Под старой лиственницей. Стихотворение (1936) 137
Тима Вень (В. Т. Чисталев). Трипан Вась. Рассказ (1929) 140
Тима Вень (В. Т. Чисталев). У мавзолея Ленина. Поэма (1927) 149

III. Жить стало веселей

М. П. Лихачев. Лес шумит. Стихотворение (1932) 163
Нёбдинса Виттор (В. А. Савин). Коми-море. Песня (1934) 165
Юсь (М. Н. Лебедев). Педя и Родя. Басня (1934) 168
Педь Гень (Г. А. Федоров). Одинокое дерево (В половодье). Повесть (1933) 171
Изъюр Иван (И. В. Изъюров). Дед Влас пустился в пляс. Рассказ (1935) 196
А. П. Размыслов. Молодость. Стихотворение (1936) . . . 201
Василь Миков (Н. В. Попов) Лукошко. Стихотворение (1936) 203
Педь Гень (Г. А. Федоров). Однажды ночью. Повесть (1935) 205
Изъюр Иван (И. В. Изъюров). Счастье. Рассказ. (1934) . . 242
М. П. Лихачев. Эгрунь. Стихотворение (1935) 255
Сандрик Йогор (Г. А. Шахов). Если опоздаешь. Стихотворение (1936) 257
Иву Стёпко (С. И. Караваев). Письмо. Стихотворение (1936) 262
В. П. Латкин. Сказка тундры. Поэма (1933) 266
М. П. Лихачев. На новом шоссе. Стихотворение (1932) . . 275

ЧИТАТЕЛЬ!

Сообщите Ваш отзыв об этой книге указав Ваш возраст, профессию, где работаете и адрес,

Государственному издательству «Художественная литература» (Массовый сектор)

Москва, Центр, ул. 25 Октября (бывш. Никольская), д. 10/2

Редактор С. В. Кашеваров
Технический редактор Р. Ольхин
Художник Д. Бажанов
Корректор В. Покровская
Наблюд. за выпуском М. Иванов.

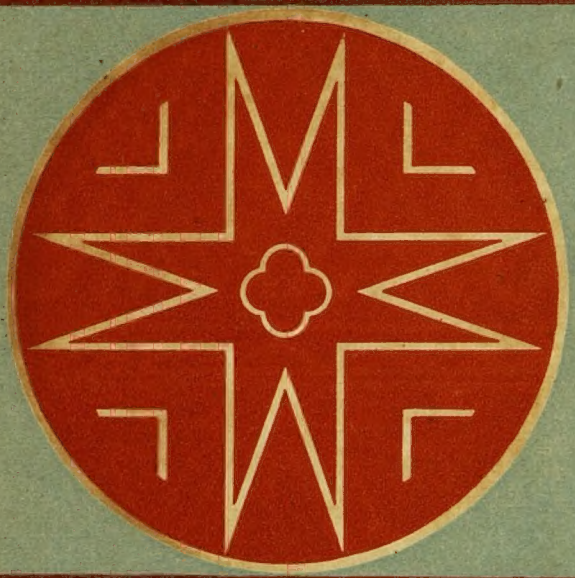
Сдано в набор 25/VII 1936 г.
Подписано к печати 13/VIII 1936 г.
Зак. изд. № 315 Зак. тип. 134
Х-61 П18 Тираж 5000. 18 печ. л.
15,45 учетно-авт. л., 11,44 авт. л
Форм. бум. 62 × 94 1/16 печ. л.
Упол. Главлита Б-26923

Отпечатано на бумаге Красновишерского бумкомбината им. Менжинского

Цена 4 р. Переплет 1 р. 50 к.

11-я типография и школа ФЗУ Мособлполиграфа

ОПЕЧАТКИ

Стр.	*Строка*	*Напечатано*	*Следует*
20	5 сн.	Öз	Оз
22	14 сн.	1934	1936
27	1 сн.	1867	1877
28	6 св.	1933	1935
34	12 св.	Иогор),	Йогор),
109	13 сн.	...«Муся	...«Муса
126	7 сн.	пенной	печной
154	3 св.	под	над
159	1 сн.	трудящхся	трудящихся
202	13 св.	молодою—	молодая—
204	9 св.	лети,	лежи,
273	14 сн.	Я слушал как в тундре	Я слушал о том,
284	17 св.	«мужик»,	«му́жик»,

„В ПАРМЕ“